**Ирма Кудрова**

**Гибель Марины Цветаевой**

От автора

Новые материалы, а также переоценка материалов уже известных, легли в основу этой книги.

Новые источники — это записи моих личных встреч и бесед с очевидцами последних лет Марины Цветаевой; это материалы частных архивов (в том числе наших соотечественников за рубежом), а также материалы архивов государственных.

Что касается последних, то больше многого другого мне необходим был важнейший из документов, прямо относящийся к 1939–1941 годам, о которых я здесь пишу: дневник сына Цветаевой Георгия Эфрона. Дневник, который он педантично вел в Москве и в Елабуге. Документ хранится в Российском Государственном архиве литературы и искусства в Москве. Увы! Только отдельные записи из этого дневника оказались для меня доступны, — и я отлично понимаю, что это обстоятельство непременно заставит в будущем не просто дополнить, но многое и исправить в повествовании, которое я предлагаю теперь вниманию читателя.

Много плодотворнее оказалась работа в другом государственном хранилище: архиве КГБ (буду называть по-старому это учреждение, которое столь часто в последние годы меняет свое название). Благодаря помощи Анастасии Ивановны Цветаевой, Софьи Николаевны Клепининой-Львовой и Александра Эммануиловича Литауэра появилась возможность познакомиться со следственными делами не только мужа и дочери Цветаевой, но и людей, в окружении которых Марина Ивановна оказалась сразу после возвращения на родину.

То обстоятельство, что мне удалось прочесть не одно-два, а несколько «дел», серьезно облегчило их изучение. Их сравнение и сопоставление, повторяющиеся конкретные детали и особенно очные ставки, где стенографистка (а не следователь!) записывает неотредактированные реакции и реплики; множество неожиданных сведений (в особенности на первых допросах, когда от подследственного, как правило, требуют рассказа о себе самом), — оказались источником, крайне ценным для задач биографа.

Эти толстые тома переплетенных протоколов и других материалов, связанных уже с судом и реабилитацией… Открывать их было страшно.

Слишком недавно все это происходило. Все-таки это не девятнадцатый век. Поискать — так и тех следователей еще, пожалуй, найти можно, и методы, коими велось в те годы дознание, не так давно ушли в небытие. Эти светло-коричневые тома, похожие один на другой, эти пожелтевшие страницы (внизу каждой — чернильная подпись допрашиваемого, — и как же отличаются они одна от другой!)… Открываешь — и кровь проступает сквозь отпечатанные на машинке слова.

Кажется, это звучит почти надрывно. В самом деле, бесстрастия, столь ценимого обычно у исследователя, мне действительно не достает. Но повторяю любимый девиз Цветаевой: «Laissez dire!» — пусть говорят, что угодно. Не ради хвалы или хулы я бралась за перо.

Однако другой вопрос может задать мне непредубежденный читатель: насколько необходимо нам знать все это для восстановления последних лет жизни великого поэта? Не слишком ли увлекся автор историей арестов и допросов? Оправдан ли его интерес к фигурам каких-то оперуполномоченных? Не слишком ли сгущена атмосфера всеобщего страха, заставлявшая, к примеру, маленьких чиновников далекой Елабуги отказывать в просьбе, едва бросив взгляд на цветаевский паспорт?

Нет, автор не увлекся модной темой. Эта модность, если хотите, как раз смущала, да и сейчас еще явственно мне мешает.

Однако на другой чаше весов — долг. Как я его понимаю. Долг перед судьбой поэта, которого я люблю, человека и женщины, которой я восхищаюсь. И этот долг заставляет все неудобные ощущения решительно отвести в некий подстрочник.

Ибо, вернувшись на родину, Марина Цветаева разделила судьбу многих замечательных своих современников. Липкие сети Лубянки стреножили ее с первых же шагов по родной земле. Игнорировать их, когда появилась, наконец, возможность узнать правду, — чего же ради?…

Судьба Цветаевой впитала все трагедийное напряжение нашей эпохи с тем большей силой, что то была судьба поэта. То есть человека, которого стихии (природы и времени) сотрясают сильнее, чем кого бы то ни было.

Как самое высокое дерево притягивает к себе в грозу удары молнии — с той же закономерностью погибла в лихую годину своей страны Марина Цветаева.

Петербург, 1995 г. Ирма Кудрова

БОЛШЕВО

Выпита как с блюдца, —

Донышко блестит.

можно ли вернуться

В дом, который — срыт?

(«Страна», 1931) 1

Теплоход «Мария Ульянова», на борт которого 12 июня 1939 года во французском порту Гавр поднялась Марина Цветаева с сыном, прибыл в Ленинград 18 июня.

Теплоход шел спецрейсом. Он привез из Испании очередную партию испанских беженцев — детей и взрослых, а также группу русских, покидавших чужие края.

Найти знакомый дом в Саперном переулке было для Цветаевой несложно: она бывала здесь не раз — в той, уже неповторимо давней жизни.

Анна Яковлевна Трупчинская, старшая сестра мужа, была, скорее всего, заранее предупреждена братом о предстоящем визите. И все же она не решилась впустить в дом путешественников. У нее были веские причины для такой осторожности: и самой Трупчинской и ее дочери-студентке уже приходилось являться на малоприятные «собеседования» в ленинградский «Большой дом» — дом НКВД на Литейном проспекте. Там обеих с пристрастием допрашивали обо всех, кто посещал их квартиру.

Втроем они погуляли по светлым июньским улицам Ленинграда.

Брандмауэры многих домов были украшены огромными плакатами. Они тиражировали идеал социалистического общества, в котором труд был провозглашен делом чести, доблести и геройства: здоровяк в рабочем комбинезоне и его крепкогрудая подруга в красной косынке и с пучком спелых колосьев в руке призывали сограждан незамедлительно нести свои деньги в сберкассу — или же вступать в ряды Осовиахима.

После семнадцати лет разлуки с родиной Марина Ивановна попала в сюрреалистический мир, где в узнаваемых декорациях текла фантастическая жизнь.

В ее обыденном порядке были митинги и празднества в честь покорителей пространства: летчиков, полярников, парашютистов. Празднества сменялись обличениями и проклятиями в адрес других соотечественников, внезапно оказавшихся предателями всех святынь, бандитами, потерявшими остатки совести.

Этот мир знал только две краски — черную и белую. Точнее, черную и красную, ибо всенародные празднества одевались в знамена и транспаранты цвета пролетарской революции. Этот мир состоял из героев и злодеев, — третьего не существовало Дух истерии витал и в неумеренных восторгах, и в осатанелых проклятиях. Страсть одинакового накала, не признающая полутонов, кипела в тех и в других.

Знала ли Цветаева обо всем этом, возвращаясь?

Она многое знала. Ибо при всей ее ненависти к газетам она, конечно, читала их, не могла не читать. Ими были завалены комнаты и подоконники, когда муж, Сергей Яковлевич, был еще рядом. После его стремительного побега из Франции страстным «глотателем газетных тонн» стал подросший сын.

Она знала, но кому неизвестно, с какой неотвратимостью разверзается бездна между слышанным, прочитанным — и увиденным собственными глазами.

Она сопротивлялась возвращению, как могла, пока муж был рядом. Когда он уехал — свободного выбора у нее уже не было. Переезд в Советскую Россию — и даже время этого переезда! — ей диктовали люди, с которыми связал себя Сергей Яковлевич Эфрон.

Вечером того же 18 июня Цветаева и четырнадцатилетний Георгий сели в поезд, отправлявшийся в столицу. На следующее утро они уже подъезжали к московскому перрону.

Кого надеялась она увидеть здесь, пытаясь еще там, во Франции, опередить торопящимся воображением этот день?

Мужа, дочь, сестру? Может быть, еще и Пастернака? Не могли же не известить его о таком событии!

Но на перроне их встречала только Ариадна — в сопровождении мужчины среднего роста, чуть полноватого и, как скоро выяснилось, глуховатого, с обаятельной белозубой улыбкой. Он был представлен как Самуил Гуревич, друг и коллега Ариадны.

Наняли носильщиков. И тут же отправились на соседний с Ленинградским другой вокзал — Ярославский. Оттуда шли поезда на Болшево. В Болшеве жил теперь Сергей Яковлевич.

На Ярославский можно пройти «задами», даже не выходя на широкую привокзальную площадь. Но неужели так и не вышли? Не взглянули хоть мельком на кусочек некогда столь любимого Цветаевой и воспетого ею города? После стольких-то лет разлуки, стольких испытаний!

Наверное, все-таки вышли.

Но ждали носильщики. А в Болшеве ждал больной Сергей Яковлевич. И, кроме того, могло ли Марине Ивановне прийти в голову, что теперь она окажется узницей Болшева на целых пять месяцев? С очень короткими и не очень легальными выездами в столицу.

Электричка сейчас идет до Болшева около часу. Тогда она шла много медленнее. А значит, было достаточно времени, чтобы поговорить матери с дочерью и брату с сестрой. Выяснить самые главные обстоятельства. Задать неотлагаемые вопросы. Переписка их была регулярной, но шла через официальные каналы, а потому ни одна из сторон не обольщалась относительно полноты получаемой информации.

Да, Сережа по-прежнему нездоров, хотя режим не постельный. Он ходит и, может быть, даже встретит их на болшевском перроне.

А Ася? Где она? Почему ее нет с нами?

Ася арестована. Еще в тридцать седьмом, в начале осени, в Тарусе. За полтора месяца до приезда Сергея Яковлевича.

Но почему, за что?

Этого никто не знает.

Как это — не знает? Как можно не знать? А Андрюша, сын?

Он арестован тоже и там же. Он гостил у матери, когда за ней пришли.

И Сережа не узнал, в чем дело?

Пытался, но не смог. Он надеялся помочь и Дмитрию Петровичу Святополку-Мирскому, уверен был, что сумеет его освободить. Но ничего не вышло…

(Давний друг Цветаевой и Эфрона Дмитрий Петрович Святополк-Мирский — блестящий критик, филолог, известный всей русской эмиграции, популярнейший профессор Королевского Колледжа в Лондоне — вернулся в Россию еще в тридцать третьем. В тридцать седьмом его арестовали. Цветаева могла уже знать об этом — от общей их приятельницы Веры Трейл, вернувшейся из Москвы в Париж осенью тридцать седьмого.)

А Сережины сестры — Лиля и Вера?

Они в Москве. Но муж Веры тоже арестован. Год назад. Аля и Сережа еще застали его на свободе…

Легко себе представить, как приходилось Але пересиливать себя, обсуждая все эти темы. Между тем она могла бы еще многое добавить. Ведь мать знала и супругов Шухаевых, и Юза Гордона, и Наталью Столярову, и Николая Романченко из парижского «Союза возвращения на родину». Все они тоже исчезли в тюрьмах.

Но сообщать о таком в самые первые часы встречи… Если бы не отсутствие Аси на вокзале, можно было бы оттянуть на потом все эти грустные новости.

Впрочем, и потом Аля говорила об этом крайне неохотно.

Она была так счастлива в это лето! Она любила и была любима, и все неприятное не желало задерживаться в ее сознании. Радостная приподнятость окружала ее как облаком, и это облако двигалось и существовало вместе с ней, где бы она ни находилась.

Знала ли мать из писем, что Аля встретила, наконец, человека, которого она называла мужем — и суженым? Аля называла так Гуревича и много лет спустя, уже вернувшись из лагерей и долгой мучительной ссылки… «Муж, которого Бог дает только однажды…» — говорила она о своем Мульке. Они давно уже встречались ежедневно, работая в «Жургазе», созданном Михаилом Кольцовым. Она — в редакции еженедельника «Ревю де Моску», выходившего на французском языке, он — в журнале «За рубежом». Гуревич часто сопровождал Алю в ее поездках в Болшево, — и тогда они вместе несли с вокзала тяжелую сумку с продуктами, снабжая Сергея Яковлевича на всю неделю. Совместная судьба их считалась решенной, хотя Гуревич был женат и с женой еще не расстался.

В биографии человека, которого полюбила дочь Цветаевой, — немало туманного. Но вряд ли когда-нибудь этот туман до конца рассеется. Нет никаких сомнений в том, что Самуил Давыдович сотрудничал в НКВД, — иначе он просто не мог бы, по правилам того времени, занять высокий пост ни в «Жургазе», ни в редакции журнала, тем более связанного по своему профилю с делами заграничными. Позже он работал в ТАССе, был в тесном контакте с иностранными корреспондентами агентства «Рейтер» и «Ассошиэйтед-пресс». А это означало уже не просто «допуск», но и солидный энкаведешный чин.

Человек незаурядных способностей, Гуревич был на восемь лет старше Ариадны Эфрон. Как и она, он вырос за пределами России. Детство его прошло в Америке, куда задолго до Октября эмигрировал его отец — профессиональный революционер. Пятнадцати лет мальчика привезли в Россию. Прекрасное знание английского языка многое определило в его будущей судьбе. Говорят, он учился в школе вместе с сыном Троцкого. И совсем достоверно — он был очень близок к Кольцову. Но, как ни странно, после ареста шефа положение его секретаря не пошатнулось. А ведь ко времени знакомства с Ариадной он был исключен из партии за «троцкистский уклон»! Свое положение он сохранил и позже, когда была арестована Ариадна и прочие обитатели болшевского дома.

Что уже наводило на раздумья тех, кто все эти обстоятельства знал и наивно верил в умопостигаемую логику действий советской карательной системы.

Самуил Давыдович казался «непотопляемым».

Однако умереть в собственной постели ему все же не было суждено. В 1952 году его арестовали вместе с другими членами Еврейского Антифашистского комитета — и расстреляли как «врага народа».

2

Сергей Яковлевич был нездоров.

К прежним хворобам, сопровождавшим его с юных лет, то усиливавшимся, то отпускавшим, на российской земле присоединилась новая: стенокардия. Первые приступы грудной жабы, как тогда еще называли эту болезнь, были настолько сильны, что Эфрона положили в Екатерининскую больницу, и он застрял там надолго. Это случилось в конце марта тридцать восьмого года, всего через пять месяцев после возвращения на родину.

А затем сменяли друг друга санатории — в Аркадии, под Одессой, на берегу Черного моря и на Минеральных водах. Елизавете Яковлевне, сестре, он признался в одном из писем, что за всю жизнь не видел около своей особы такого количества врачей, как в этих санаториях. Понимал ли он, что санатории, в которые он попадал, были совсем другого разряда, чем все прочие? Ибо его пестовали в самых привилегированных, энкаведешных…

Не была ли его грудная жаба всего лишь нормальной реакцией организма на сильнейший стресс? Причин для этого было предостаточно.

«Акция», спланированная в недрах Иностранного отдела (ИНО) НКВД и завершившаяся в сентябре 1937 года убийством в Швейцарии «невозвращенца» Игнатия Рейсса, — а к ней, как все говорили, имел некое отношение Сергей Эфрон, — считалась в высоком Учреждении «проваленной». Убийцы оставили столь заметные следы, что швейцарская полиция, объединившись с французской, сумела быстро поймать троих участников операции. Правда, то были участники, так сказать, «периферийные», — непосредственные убийцы сумели ускользнуть, — но все же в руках полиции обнаружился конец нити, которая достоверно вела в Москву, в тот самый ИНО. Большевистская агентура оказалась на этот раз пойманной за руку, и советским комментаторам уже затруднительнее стало говорить о «беспочвенных подозрениях», как это было в случае с похищением генерала Кутепова в 1930 году.

Но для сильнейшего стресса хватало и тех обстоятельств, какие встретили Эфрона на родине.

Все семнадцать лет чужбины он страстно мечтал о возвращении.

Облик родины в его собственных глазах не раз менялся. В последние же десять лет, незаметно для самого себя, он создал образ такой страдальческой святости, в котором уже совершенно размылись реальные земные черты.

Как быстро развеялся в его сознании этот ореол? И успел ли он вообще до конца развеяться за то недолгое время, которое еще оставалось у Эфрона на земле?

К концу тридцать седьмого страна цепенела от страха: в городах и весях шла «великая чистка», железно проводимая недоростком-наркомом с кукольным личиком.

(Открытки с его фотопортретом продавались тогда на всех углах, и я, второклассница, однажды купила такую в газетном киоске — личико понравилось! Моя тетя, приехавшая как раз в эти дни из районного городка под Ленинградом, увидела открытку среди школьных тетрадок и на моих глазах с воплем разорвала ее в клочки. Я не очень поняла, что именно произошло, но хорошо запомнила. Много позже мне объяснили, что тетя Шура приезжала тогда просить совета и помощи у своего брата, моего отца: только что был арестован ее муж — отец четверых детей.)

Размах арестов должен был бы, кажется, отрезвить самую романтическую голову. Но в одурманенном сознании здравая догадка не задерживается надолго. И, кроме того, именно размах репрессий и не был виден!

Это мы, потомки, знаем его в цифрах, фактах и чудовищных подробностях. А тогда оставалось просторное поле для самоутешения, которое всегда изобретательно. Головотяпство и вредительство — эти слова, постоянно звучавшие из репродукторов, годились для обращения в любую сторону. Они должны были гасить все недоумения — и успешно выполняли свою роль, — во всяком случае, в представлении тех, кого еще не коснулась прямо карающая десница.

Подождите, все скоро разъяснится и исправится. Посадили же Ягоду, несмотря на все его могущество, на скамью подсудимых! А XVIII съезд партии осудил теперь и «крайности ежовщины»! Конечно, лес рубят — щепки летят. Но без ошибок не свершишь такое великое дело — социализм…

Весной 1938 года в Москве проходил третий и самый крупный политический процесс из тех, что ошеломили весь цивилизованный мир. На скамье подсудимых сидели теперь участники «правотроцкистского блока», и среди других — Николай Иванович Бухарин.

Всего два года назад Эфрон видел и слышал его в Париже — энергичного, жизнерадостного. Он читал свой доклад в зале Сорбонны по-французски. Большие выдержки из доклада были помещены затем в журнальчике «Наш союз», выходившем в Париже под эгидой «Союза возвращения на родину». И Сергей Яковлевич еще посылал тогда в отель «Лютеция», где остановился Бухарин, для необходимых согласовании своего коллегу Николая Андреевича Клепинина…

Заседания суда проходили в сравнительно небольшом Октябрьском зале Дома Союзов, вмещавшем около трехсот зрителей. Не был ли среди них Сергей Эфрон? В принципе — мог бы: сотрудники НКВД и наполняли зал чуть не на две трети. Но если присутствие Эфрона можно только предполагать, то достоверно известно другое: в зале находился давний друг Сергея Яковлевича Илья Эренбург. Он только недавно приехал из Испании в Москву и как корреспондент «Известий» получил доступ в «Октябрьский». В какой-то момент он оказался совсем рядом с Бухариным — они были знакомы с давних времен — и не узнал его: так тот изменился.

Много толков вызвал на этом процессе эпизод, когда один из подсудимых — замнаркома иностранных дел Крестинский — во всеуслышанье отрекся от всех показаний, которые он давал на предварительном следствии. Это укоренило зерно сомнения у иных скептиков, давно уже подозревавших инсценированность процессов. Впечатление было сильнейшим, но эпизод обсуждали с оглядкой — и только в самом узком кругу.

Крайне тревожно должно было прозвучать для Эфрона и его давних сподвижников по секретной службе во Франции упоминание на процессе — в опасном контексте — имени полпреда СССР в Париже Членова. Что это означало для тех, кто имел с ним дело еще совсем недавно?

Друг молодости Сергея Яковлевича, ставший впоследствии мужем его сестры Веры, Михаил Фельдштейн, юрист по образованию, пытался адаптировать недавнего эмигранта к советской реальности, снять с его глаз бельма иллюзий.

— Но надо же тогда протестовать, если это правда! — восклицал прекраснодушный Сергей Яковлевич, наслушавшись всяких страстей.

Фельдштейн был арестован летом тридцать восьмого.

Страшных и непонятных фактов было предостаточно. Но тяжелейшими для Эфрона стали те, которые касались вернувшихся из Франции эмигрантов. Каждого из них он знал в лицо. И вот посыпались новости, одна другой чудовищней: арестован, арестована, и этот тоже, и та.

В иных случаях еще можно было предположить какие-нибудь промахи, болтовню, мало ли что. Но что было думать об аресте Дмитрия Петровича Святополка-Мирского, умницы, интеллектуала, сподвижника по «Верстам» и «евразийству»? Или Николая Григорьевича Романченко? Его Эфрон знал еще по Праге как чистейшей души человека. Усомниться в них было то же, что усомниться в самом себе…

Но исчезали не только бывшие эмигранты. А что было думать об аресте Мандельштама? Двадцать лет — не такое уж долгое время (когда оно позади!), и в памяти Сергея Яковлевича был жив облик совсем юного кудрявого Осипа, заливавшегося хохотом по любому поводу. В шестнадцатом году, когда он приезжал из Петрограда в Москву, влюбленный в Марину, и дебоширил у них в «обормотнике» на Сивцевом Вражке, — кто мог представить себе?… Его арестовали (уже во второй раз!) в мае того же тридцать восьмого.

Эфрона привезли на родину тайком, тоже спецрейсом, на теплоходе, носившем имя «Андрей Жданов», — в составе группы лиц, как считалось, замешанных в так называемом «деле Рейсса». Четверых из этой группы (а, может быть, ими состав группы и исчерпывался) теперь можно назвать поименно. То были С. Я. Эфрон, Н.А. Клепинин, Е.В. Ларин и П.И. Писарев. Как выясняется только теперь, отбор был достаточно случаен, чтобы не сказать странен. Ибо потом, на допросах, Клепинин будет настаивать на том, что ни он, ни Эфрон прямого отношения к «акции» с Рейссом не имели, они исполняли другие задания разведки. Случайный подбор группы может объясняться тем, что высокие чиновники из парижского НКВД, реально ответственные за проведение «акции», были еще ранее отозваны в Москву. И следы в Париже пытались замести люди, не слишком осведомленные в подробностях всей истории.

Но так как группа привезена тайком — всем даны здесь новые фамилии. Сергей Яковлевич теперь уже не Эфрон, а Андреев. Клепинин — Львов, а Ларин — Климов.

Официально считается, что Эфрон исчез где-то в Испании, — такова принятая версия. Резон ясен: если он (как и остальные) здесь, в Москве, то это аргумент в пользу участия Страны Советов в «акциях» с Рейссом и похищением генерала Миллера. Ибо исчезновение всех четверых из Франции совпало как раз с моментом, когда французская полиция вышла на «советский след» в том и другом «деле».

Заводить новых знакомых вновь прибывшим не слишком рекомендуется. И с давними (доэмигрантскими) друзьями встречаться можно лишь ограниченно.

При всем том встречена была группа в Москве вполне заботливо. В декабре они на месяц были отправлены в Кисловодск, в санаторий, — отдохнуть и набраться сил. А по возвращении в Москву поселены в престижной Новомосковской гостинице.

Привлекать их к новой работе не спешат. Правда, сразу по приезде им было сказано нечто не слишком внятное о возможности их отправки на спецслужбу в Китай. Но чиновник, сообщивший об этом, вскоре куда-то отбыл, как говорили — в Париж. И исчез.

Только в феврале Эфрона и Клепинина вызвали к начальству на Лубянку. Неизвестно, порознь или совместно с каждым из них шла беседа. Человек, который теперь их принял, был им знаком, — это оказался С.М. Шпигельгласс, заместитель начальника Иностранного отдела НКВД А. А. Слуцкого. Эфрону и Клепинину уже приходилось встречаться с ним в Париже, и в последний раз не так уж давно — в июле тридцать седьмого, — но имени его они тогда не знали.

И снова был разговор о работе в Китае. И опять какой-то неопределенный.

Может быть, потому, что в самом здании на Лубянке происходили как раз в те дни события непонятные и тревожные — даже для тех, кто вольготно расположился в важных креслах.

Именно в феврале тело Слуцкого уже было выставлено для последнего прощания в служебном зале: он скончался в кабинете другого своего зама Фриновского с подозрительной внезапностью, мало кого из сослуживцев обманувшей.

Эфрон и Клепинин получили распоряжение: ждать вызова к Фриновскому за решением своей участи. Две ночи подряд они провели в здании на Лубянке в тягостном ожидании (именно ночи, ибо сказано было, что их примут около двух часов, таков был тогда порядок!). И оба раза около трех часов утра прием отменяли.

Еще раз Шпигельгласс вызвал Клепинина в апреле, тоже среди ночи. (Сергей Яковлевич уже был тогда тяжело болен.) И в течение двух часов пробавлялся болтовней о пустяках, время от времени прерывавшейся вопросом: способен ли он, Клепинин, взяться за задание, связанное с риском для жизни? — Где? В Китае? — Может быть, вовсе и не в Китае, для этого не обязательно выезжать за рубеж. Разговор опять ничем конкретным не увенчался. А в июле исчез и Шпигельгласс.

НКВД усердно пожирал теперь уже и собственных детей.

Ежов летом тридцать восьмого года был еще, казалось, в зените своего могущества. Однако вскоре его заместителем был назначен Лаврентий Берия. И когда в декабре «маленького наркома» окончательно отодвинут с арены (и подробности его конца останутся загадкой даже для самых дотошных историков), — советские граждане, с жадностью хватающиеся за любую надежду, в очередной раз будут говорить друг другу: «Ну вот, зло наказано…» Тем более, что Берия начинает с громовых обличении «головотяпства» в хозяйстве своего предшественника.

Тем, кто еще уцелел из «ежовских кадров», трудно было ощущать себя в безопасности. Впрочем, чей «кадр» был Сергей Эфрон — сказать трудно. Видимо, завербовывали его люди Яна Берзина, а не Ягоды или Ежова. Ибо именно Берзин возглавлял в тридцатые годы Разведывательное управление, а Эфрон и его сотоварищи всегда называли себя «разведчиками».

Но и Берзин был расстрелян летом тридцать восьмого.

В этом же году Эфрону было предоставлено жилье в подмосковном местечке Болшево.

Здесь ему отвели половину в одноэтажном бревенчатом доме с двумя террасами, с камином в гостиной и паркетными полами. Паркет настлан, но воду надо носить из колодца, — канализации, естественно, тоже нет, и уборная, по российскому обычаю, — во дворе.

Дом стоит в отдалении от поселка, в сосновой роще. Обширный участок с невырубленными деревьями — просто кусок леса — обнесен забором. Поблизости есть еще два таких же дома, но обитателей их не видно. Клепинины въехали на свою половину первыми, Сергей Яковлевич появился позднее, в октябре, вернувшись из очередного санатория, — загорелый, поздоровевший. Вместе с ним здесь поселилась Ариадна. Ей было крайне неудобно ездить из Болшева в свою редакцию на электричке, но нежная любовь к отцу все перекрывала, и до приезда матери с братом Аля лишь изредка оставалась ночевать в Москве, у тетки в Мерзляковском.

Три уединенных дачи были выстроены в Болшеве в начале тридцатых годов для высокопоставленных сотрудников «Экспортлеса».

Та, в которой поселили Клепининых и Эфронов, предназначалась для директора «Экспортлеса» Бориса Израилевича Крайского. Он успел пожить тут почти четыре года — в тридцать седьмом его арестовали. И дача считалась с этого времени уже собственностью НКВД. В ней поселили теперь начальника Седьмого управления НКВД Пассова. Отмеренный ему срок оказался совсем коротким — всего несколько месяцев. После странной смерти Слуцкого Пассова посадили в его кресло. Но прошло совсем немного времени — и его тоже увезли из Болшева на родную Лубянку. Уже не в собственный кабинет, а во внутреннюю тюрьму.

«Дом предварительного заключения» — так назвала болшевское убежище язвительная Нина Николаевна Клепинина.

До приезда Цветаевой именно ей принадлежала роль лидера в распорядке жизни обитателей болшевского дома.

К июню тридцать девятого года их тут уже девять человек.

Одних Клепининых, то бишь Львовых, — семеро: Николай Андреевич, Нина Николаевна, старший сын Алексей с женой и новорожденным малышом, другой сын Дмитрий и двенадцатилетняя дочь Софа. Николай Андреевич и Алексей работают в ВОКСе (то есть во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей). Клепинина только летом тридцать девятого года сумела устроиться на службу в «Интурист»; время от времени она уезжала на дежурства в какой-то гостинице.

Незадолго до прибытия Цветаевой с Муром все младшие в доме получили от Нины Николаевны строжайшее внушение: в комнаты Эфронов не входить, к Марине Ивановне не приставать, в гостиной и на террасах не шуметь. «Цветаева — великий поэт, — сказала детям Нина Николаевна, большая поклонница поэзии вообще и цветаевской в частности, — а поэты не такие, как обычные люди. Покой Марины Ивановны должен быть священным».

Мите и Софе, а также молодым супругам — Алексею и Ирине — отныне строжайше запрещалось лишний раз дергать и Сергея Яковлевича. Предупреждение это было не лишним, потому что Эфрон приучил уже младших к полному панибратству. Когда здоровье позволяло, он охотно с ними возился, откликался на любое предложение игры и сам затевал всякие розыгрыши. Всегда приветливый и улыбающийся, он не давал никому повода догадываться о том, что было у него на душе, — даже своей дочери. Правда, Дмитрий Сеземан (сыновья Нины Николаевны были от ее первого брака и носили эту фамилию) вспоминает, что слышал однажды через стенку громкие, в голос, рыдания Сергея Яковлевича. Но Сеземан слишком часто недостоверен.

3

«Там была чудная атмосфера» — так вспоминала болшевское время Ариадна Эфрон спустя двенадцать лет, в одном из писем Борису Пастернаку. Можно не сомневаться в искренности ее признания. Но верится ему с трудом.

Пожалуй, даже и вовсе не верится. «Чудной» атмосфера в Болшеве могла быть разве что для самой Али, в ту пору влюбленной и любимой. Впрочем, Нина Гордон, близкая подруга Ариадны, не однажды приезжавшая с ней в Болшево, тоже вспоминает «легкий, веселый день», проведенный здесь. В ее воспоминаниях есть совершенно идиллический эпизод:

«…Зимний морозный вечер тридцать девятого года.

Муля и я в Болшеве у Али, — еще до приезда Марины Ивановны. Ужинаем вчетвером — Аля, Сергей Яковлевич, Муля и я — в Алиной комнатке. Топится печка, неяркий свет лампы под потолком, на столе клетчатая скатерочка, окна занавешены, на стене свежая еловая ветка, и от нее пахнет Рождеством; вкусный ужин, тихий, какой-то радостный разговор, надежда на скорый приезд Марины и Мура, Алины шуточки, громкий ее смех, добрая, с мягкой иронией улыбка отца. Какие-то все радостные, оживленные. Уют, покой…

Кто мог подумать тогда, как зыбок и ненадежен этот покой, как жестоко и безжалостно будет уничтожена эта семья…»[1]

Но Сергей Яковлевич не мог не ощущать зыбкости болшевского покоя!

Уже были арестованы многие его друзья и соратники. Он пытался и ничего не смог сделать для них. Неудачные попытки защиты уже могли бы прояснить ему, что здесь он ничего не значил, ни для кого, и его заступничество — не более чем писк в мышеловке. Догадывался ли он об этом? Или уже понимал?

Строго говоря, все происходящее вокруг не должно было бы для него оказаться совсем уж неожиданным. Меньше чем за месяц до стремительного отъезда из Франции Эфрон многое узнал от своей давней приятельницы и сподвижницы Веры Трейл, как раз в сентябре 1937 года вернувшейся из Москвы. Вера пробыла там достаточно долго, обучаясь в подмосковной школе разведчиков НКВД, и привезла известия о множестве арестов, которые коснулись людей, знакомых им обоим. 20 сентября Вера Александровна родила дочь, лежала в одной из парижских клиник, и Сергей Яковлевич много дней подряд навещал ее здесь, — так что времени на рассказы, обсуждения и разговоры у них было предостаточно. Я знаю об этом непосредственно от В. А. Трейл, с которой я успела обменяться несколькими письмами в конце 1979 года. Уж кого-кого, но Веру Эфрон никак не мог заподозрить в преувеличениях или плохой информированности.

В Болшево нередко наезжали репатрианты, — в основном это были сподвижники Эфрона по службе в советской разведке за рубежом. Они приезжали с пугающими новостями и вопросами. А иные с растерянностью и надеждой на поддержку.

В тридцать восьмом — тридцать девятом здесь побывали Тверитинов, Афанасов, Смиренский, Балтер, Яновский, Кондратьев. Тот самый Вадим Кондратьев, которого в тридцать седьмом разыскивала французская и швейцарская полиция как участника «акции» под Лозанной в сентябре того же года. Тогда его портреты были помещены — для опознания — во множестве французских и бельгийских газет. Кондратьев был в родстве и дружбе с Клепиниными, и потому Нину Николаевну вызывали в те дни во французскую полицию и настойчиво допрашивали, что она о нем знает (Николая Клепинина к тому времени в Париже уже не было). Кондратьев был раньше других переправлен в СССР и здесь вскоре отправлен на юг, — видимо, в санаторий. В Болшеве он объявился в конце тридцать восьмого и как гость Клепининых прожил некоторое время.

(Странным образом Кондратьев умер своей смертью — от туберкулеза — и избежал ареста и на родине. Может быть, его спас стремительный отъезд на юг, а позже назначение в Крым, директором одного из санаториев. Тепленькие местечки такого рода нередко давали заслуженным кадрам Учреждения. Свою работу они продолжали и в новых условиях. Так, приехавшего из Бельгии Писарева назначили директором столичного кафе «Националь», облюбованного московской художественной элитой — и сотрудниками НКВД. Другой репатриант — с теми же заслугами — Перфильев стал директором известного столичного ресторана «Арагви». В директорских комнатах «Националя» и «Арагви» устраивались свидания сугубо секретного свойства…)

В тридцать девятом году летом в Болшеве (когда там уже жила Цветаева) объявился Василий Васильевич Яновский. Он приехал почти прямо из Испании и с возмущением рассказывал о порочной практике работы советских агентов НКВД в рядах республиканской армии. Нина Николаевна Клепинина взялась помочь ему составить рапорт в органы НКВД. Симптоматическая подробность! Расправы с «троцкистскими агентами» в Испании обитателям Болшева представляются возмутительным извращением правильной партийной линии! «Чудная атмосфера»?

Но ведь не только Ариадна была так безмятежна — при том, что шли последние месяцы ее свободы. И Дмитрий Сеземан называет в воспоминаниях то время если не чудным, то «спокойным» и даже «приятным». Ему тогда исполнилось семнадцать. Мать была с ним нежнее, чем с двумя другими своими детьми, чему имелось уважительное объяснение: у Мити был туберкулез. Болезнь то затихала, то обострялась уже не первый год, и в лучах непрерывной обеспокоенной заботы матери мальчик рос себялюбивым баловнем.

Никаких тревожных подробностей не сохранилось и в памяти Ирины, жены старшего сына. Естественно, впрочем, что все ее радости и огорчения были целиком сосредоточены на маленьком сыне — и еще на муже, изобретательно уклонявшемся от помощи своей молодой жене. Легко предположить еще и то, что в присутствии невестки в доме не вели никаких серьезных и опасных разговоров. Помимо ее юного возраста, она была «пришлая», не своя.

Ирину удивлял, правда, странный распорядок в доме, когда свекор и свекровь, а иногда вместе с ними и Сергей Яковлевич, вдруг отправлялись «на работу», в Москву, совсем поздним вечером, на приезжавшей за ними машине. Возвращались утром, посеревшие, усталые, молчаливые. Может быть, это и были ночные вызовы к Шпигельглассу или Фриновскому?

Но она хорошо запомнила случай, когда старшие увезли с собой на ночь и ее мужа.

Нина Николаевна вошла тогда в их комнату, — было поздно, они уже легли, — и сказала сыну голосом, не допускавшим ни вопросов, ни обсуждения:

— Поедешь с нами.

И Алексей поехал. Это вызвало у Ирины разные чувства. Но не страх. Рассказывал ли муж, вернувшись, зачем его возили? Во всяком случае, Ирине это не запомнилось. Значит, не так уж поразило, не напугало. До сих пор Ирине Павловне кажется, несмотря на эти подробности, что предощущения катастрофы, вскоре здесь разразившейся, — не было.

И только Софья Николаевна Клепинина-Львова настаивает: было.

В ее памяти тревога висела в воздухе болшевского дома.

Взрослые прекрасно понимали, пишет Клепинина в своих воспоминаниях, что, скорее всего, им придется разделить судьбу множества ни в чем не повинных людей, которых арестовывали вокруг. Деловитостью, занятостью старшие пытались замаскировать от младших непроходящий страх. Днем делали вид, что все идет как надо, — и каждую ночь ждали ареста…

Спустя полвека после той осени Софье Николаевне довелось прочесть чудовищные документы: протоколы допросов матери и отца в стенах Лубянки…

4

Порог этого дома и перешагнула вернувшаяся в Россию Марина Цветаева.

Стоял жаркий летний день 19 июня тридцать девятого года. Уже несколько недель подряд небо было безоблачным. Легкий запах нагретой хвои, неправдоподобная тишина. Даже пес не залаял, выбежав им навстречу: низкорослый белый французский бульдог Билька с розовыми смешными ресницами, привезенный Клепиниными из Парижа, был глухонемым.

Невестка Клепининой, юная Ирина, с нетерпеливым любопытством ожидавшая приезда «парижанки», была разочарована. Парижанка оказалась совсем не эффектной — усталое лицо, стриженые, с сильной проседью волосы, и в тон им — серое платье. Короткие рукава и широкий пояс, охватывающий тонкую талию. Едва поздоровавшись, она прошла на эфроновскую половину — и надолго там исчезла.

Потом, конечно, они и познакомились и подолгу стояли друг подле друга на общей кухне, хлопоча над керосинками. Но близкого контакта так и не получилось. Марина Ивановна оставалась замкнутой, молчаливой, неулыбчивой, будто ушедшей глубоко в себя.

Нет ничего, впрочем, странного в том, что все казались ей лишними в эти первые дни свидания с мужем.

Слишком долгой была разлука.

Слишком многое произошло за эти восемнадцать месяцев, которые они провели по разные стороны нескольких государственных границ.

Но кроме всего прочего, легко предположить, что Марина Ивановна испытала острейшее чувство дискомфорта, оказавшись вдруг в условиях коммунальной квартиры. Не только «места пользования» (замечательный термин советского общежития) были общими, общей была и гостиная, так что нельзя было выйти из комнат без свидетелей.

Трагические события, навсегда отметившие это место, поделят срок болшевского заточения Цветаевой почти пополам. Лишь первые девять недель пройдут в относительном спокойствии. И потому придется решительно оспорить утверждение Виктории Швейцер в ее книге, будто Болшево было «самым спокойным и счастливым временем: все были живы и вместе»[2].

Какое там! Никаких следов душевного благополучия, да даже и относительного спокойствия мы не найдем ни в сохранившихся записях самой Марины Ивановны, ни в рассказах уцелевших современников.

Трудно представить себе их встречу.

За долгие месяцы разлуки Цветаева прошла Голгофу общеэмигрантского осуждения и отторжения. Муж скомпрометировал ее в глазах всего русского Парижа уже одним только скоропалительным исчезновением в октябре тридцать седьмого. Несколько недель подряд его имя не сходило тогда со страниц парижских газет. Оно фигурировало, в частности, в показаниях Ренаты Штейнер, арестованной вскоре после убийства Рейсса. И хотя конкретная роль Эфрона в «акции» была совершенно неясна, газеты не церемонились с обвинениями.

Реакцию Цветаевой в те дни засвидетельствовали воспоминания Марка Слонима и Елены Федотовой. Последняя передала, в частности, рассказ Исидора Бунакова-Фондаминского, который примчался в Ванв, едва появилось в газетах известие о допросе Марины Ивановны во французской полиции. В первый и последний раз Фондаминский видел Цветаеву в бурных неостановимых слезах. Еще не оправившись от потрясения, она повторяла одно и то же: Сергей Яковлевич никогда, никогда не мог пойти на убийство, ни с какой целью, это невозможно, это неправда…

Лишь со временем она обрела окаменелость отчаяния, ушедшего глубоко в сердце.

(Увы! Кто верил тогда ее словам? Толпа охотно, с наслаждением верит дурному, она легка на скорый и суровый суд. Кому интересны оттенки, обстоятельства, смягчающие или опровергающие подробности, — если все это касается другого, не тебя? Вникать, сопоставлять, думать — зачем? Все ясно и без того, а времени всегда мало. Страсть осуждения, сласть негодования. И подвержены им вовсе не только темные люди. Столетний юбилей Цветаевой — в газетно-журнальных проявлениях — еще раз это напомнил…

Спустя более чем полвека репутация Сергея Эфрона явно требует пересмотра. Но уже не осталось никого из тех, для кого это было жизненно важно.) В невиновности мужа Марина Ивановна была уверена неколебимо. Иначе, по крайней мере, она избегала бы опасной темы в разговорах со знакомыми и друзьями.

Но ничего похожего! Даже в канун отъезда в Россию, прощаясь с давней приятельницей Черновой-Колбасиной, она сама заводит разговор: «Не правда ли, Ольга Елисеевна, вы никогда не верили, что Сережа виноват в том, в чем его обвиняют?…»

Совершенно очевидно, что все эти месяцы разлуки сердце ее жгла прежде всего боль жестокой несправедливости по отношению к чистейшему в ее глазах Сергею Яковлевичу. Если она и допускала в самом деле, что доверие его могло быть обмануто и против воли он оказался втянут во что-то сомнительное, то только обманом и только против воли — не иначе.

В чистоту помыслов и намерений мужа она верила тверже, чем в непогрешимость папы римского.

Но сколько у нее должно было возникнуть вопросов в те тяжкие месяцы! И тогда, когда в полиции предъявили ей странную телеграмму от января тридцать седьмого года — для опознания почерка, и когда множество уличающих подробностей запестрели на страницах эмигрантских газет…

И вот после всего пережитого — встреча.

Что они расскажут друг другу? О чем спросят? В чем признаются? Ничего достоверного мы уже никогда об этом не узнаем.

Лишь некоторые осколки достоверного сохранились. Но именно осколки. Ибо это почти закодированные записи самой Цветаевой в ее дневнике. Они сделаны год спустя.

Итак, из столицы Франции — шумной, беспечной, сверкающей блеском всегда свежевымытые окон кафе и витрин магазинов, — в русскую деревню. «Деревней» Цветаева называла Болшево издалека, в письмах, которые она писала еще в Париже, своей пражской приятельнице Анне Тесковой.

Но с первых же минут здесь стало ясно, что муж ее живет не в деревне. И не в селе, и не в городе. Где-то между.

Этот дом, такой основательный на первый взгляд, стоял таким особняком, отдаленным от всего и всех, что в его стенах, казалось, прочно поселилась настораживающая неприкаянность.

В другое время — радоваться бы.

Отъединенность от суеты. Приволье для прогулок. Сухая песчаная земля, высокие стройные сосны. Благословенная тишина; только изредка прошумит проходящий мимо поезд.

Стоит прекрасное цветущее лето. На участке сооружен примитивный душ — можно и облиться холодной водой, если станет невмоготу от зноя. Настоящее купанье далеко, и обитатели дома ленятся туда ходить.

Сергей Яковлевич вбил между двух сосен железный прут и подвесил на нем физкультурные кольца. Их использовали редко, хотя с приездом Мура — чаще: Эфрон считал, что мальчик для своих четырнадцати лет полноват и ему надо заниматься спортом.

(Эти кольца!.. Мы о них еще вспомним…)

Семья, наконец-то, собралась вместе.

Правда, две эфроновские комнатки очень малы, просторна только гостиная, общая с семьей Клепининых. Мебель самая примитивная, нет даже платяного шкафа. Одежда, стыдливо прикрытая простыней, висит прямо на гвозде, вбитом в стену. Но к этому Марине Ивановне не привыкать: почти всегда — в пореволюционные годы — так и жили.

В доме — сносный достаток: Сергей Яковлевич получает жалованье, хотя в эти летние месяцы он редко ездит в город — болезни его не оставляют.

Кухня — увы! — общая. И потому труднее махнуть рукой на гору невымытой посуды, отложить до другого часа. А мытье посуды — целое событие, то есть долгое отнятое время, ибо в доме нет ни водопровода, ни канализации.

В будние дни семьи порознь готовят еду и порознь обедают.

Объединяются по воскресеньям. Тогда накрывают стол на одной из террас, и тут хватает места не только для постоянных обитателей, но и для гостей.

5

Гости не часто, но бывают.

Чаще всего это родня Клепининых и Эфронов. Приезжает Елизавета Яковлевна, сестра Сергея, — седая красивая женщина с огромными лучистыми глазами, приезжает восемнадцатилетний Константин, сын другой сестры Веры Яковлевны. Приезжает Ариадна. После того как здесь поселились мать и брат, она уже не живет в Болшеве постоянно, но когда появляется, привычно берет на себя хозяйственные хлопоты: стирает, готовит обед, моет посуду. Она весела и улыбчива, но Цветаева запишет потом странную фразу о ней в своем дневнике: «Энигматическая (то есть загадочная — И. К.) Аля. Ее накладное веселье…»

Тем, кто знал Марину Ивановну в болшевский период ее жизни, больше всего запомнились тяжелая замкнутость, хмурая молчаливость — и неожиданные вспышки раздражения.

К общему столу она выходила из своей комнаты отстранение вежливая, с потухшим взглядом. Казалось, ей нужно было усилие, чтобы включиться в общую беседу или ответить на вопрос, к ней обращенный.

«Женщиной с неоттаявшим сердцем» называла Цветаеву Ирина Горошевская, юная жена Алексея Сеземана.

С. Н. Клепинина-Львова отмечает другую подробность, которой с трудом веришь, настолько она расходится с тем, что мы знаем о Марине Ивановне по другим свидетельствам.

Цветаева, настаивает Клепинина, была крайне неласкова и даже сурова, жестока с сыном! Воспитанная строгой, но неизменно выдержанной матерью, двенадцатилетняя Софа буквально остолбенела, оказавшись однажды свидетельницей пощечины, доставшейся Муру от Марины Ивановны. И повод-то к тому был, как ей помнится, пустячный.

Мур плакал тогда, спрятавшись ото всех, а однажды — так вспоминает Софья Николаевна, — «чуть было не убежал под электричку»…

Внешне холодная, глубоко ушедшая в себя Цветаева иногда взрывалась. Доставалось обычно тому же сыну. Но Горошевская запомнила и другой случай. Когда с безумным криком Марина Ивановна выбежала из своей комнаты, услышав, как Ирина выронила из рук кастрюльку с детской кашей у самой двери Эфронов.

Эта глухая замкнутость, эта явная перемена в отношении к сыну и болезненная резкость реакций дают основания предположить, что в Болшеве, едва вернувшись на родину, Цветаева переживает какое-то сильнейшее потрясение, к которому она оказалась абсолютно не готова.

Нечто, от чего она не может прийти в себя.

Естественно в таком состоянии жаждать уединения. Но в болшевском доме она не может остаться наедине с собой. Каждый ее шаг — на глазах других. И это усугубляет внутреннее напряжение. Мешают все, мешает даже собственный обожаемый сын, временами невыносимо упрямый и капризный. На нем, как на совсем своем (в этом случае всегда хуже срабатывают тормоза), Марина Ивановна срывается особенно часто.

Но в чем же дело, что означает это напряжение? Ведь даже спустя полгода, в Голицыне, в писательском доме, ее видели уже иной. Гораздо более спокойной и контактной. Там, за общим табльдотом, она временами даже блистала, — так что все вокруг затихали, прислушиваясь к ее рассказам о Чехии и о Франции или к рассуждениям на литературные темы…

Что потрясло ее в Болшеве, вскоре (или даже сразу) по приезде? Может быть, тут и гадать нечего: достаточно ареста любимой сестры. И ареста Миши Фельдштейна, которого она знала со времен давнего счастливого Коктебеля. И ареста Святополка-Мирского, дружба с которым родилась уже во Франции. И ареста Мандельштама… Все это люди, чьи судьбы были тесно переплетены с ее собственной судьбой. Так. И все-таки… Нельзя ли предположить и еще одну причину?

Именно ту, что здесь, в Болшеве, Марина Ивановна осознает, наконец, с кем связал себя ее муж.

Во Франции это называлось «Союз возвращения на родину». И еще: «советское полпредство». А после 1936 года — «Испания».

Помощь Испании была запрещена французским правительством. И в доме Цветаевой и Эфрона на эти темы — советское полпредство и Испания — всегда был наброшен некий флер секретности. Но у Марины Ивановны и не было никакого желания вдаваться в подробности.

Фанатическая преданность мужа «интересам отечества», вызывала ее недовольство и беспокойство. Она считала — и писала об этом своей чешской приятельнице Анне Тесковой, — что фанатизм и гуманизм существуют на разных полюсах, их никому не удается совместить. Супруги спорили — и оставались каждый при своем. И со временем Цветаева отступилась. Ибо в фундаменте их брака изначально лежал постулат терпимости к пути, избираемому другим.

Влияние отца на детей — вот что больше другого беспокоило Цветаеву. Ей страстно хотелось уберечь сына и дочь от этой заразы — флюидов фанатизма.

Но после внезапного бегства Сергея Яковлевича из Франции у нее уже не оставалось возможности сохранять независимую позицию. Муж фактически сдал ее на руки своим «покровителям» (хозяевам!). Отныне только через них она могла поддерживать связь с Сергеем Яковлевичем: посылать ему и получать от него письма. Те же люди, скорее всего, продиктовали ей переезд из Ванва — сначала в одну маленькую гостиничку в Исси-ле-Мулино, потом в отель «Иннова» на бульваре Пастер в Париже.

Прошение, которого в течение семи лет не мог добиться от жены Эфрон, — о возвращении в Россию, — она подала сразу после отъезда мужа. Для всего этого ей не понадобилось даже посещать особняк на улице Гренель: все делалось через доверенных лиц. Одним из них оказался человек, которого она давно знала как знакомого мужа, — то был Владимир Покровский. Похоже, что в «полпредстве» он пользовался доверием: именно через него Марина Ивановна получала все важные распоряжения, и он же передавал ей деньги — зарплату мужа.

И она брала, конечно.

А на что им с сыном было теперь жить? На заработок от публикаций или выступлений на литературных вечерах она уже не могла рассчитывать.

Если она и не знала раньше, то перед возвращением в СССР ей должны были разъяснить те же люди из «полпредства», что ее муж — советский разведчик. Я делаю это допущение по аналогии: Ариадна Эфрон в письме, посланном из Туруханска на имя министра внутренних дел Крутлова (от 22 сентября 1954 года) рассказала о том, что в Париже, в советском полпредстве, перед самым ее возвращением на родину, с ней провели беседу. Цель беседы была инструктивная (и, по-видимому, запугивающая): «Поскольку Ваш отец — советский разведчик…» Ничего конкретного в случае с Цветаевой неизвестно, но легко домыслить, что тогда же могло быть сказано — как о непременном условии — о невыезде ее из Болшева в течение какого-то времени, об ограничении внешних контактов…

Однако «разведчик» — это слово все-таки еще окрашено оттенками жертвенности и самоотречения, хотя щепетильный слух нашего современника и тут различит сомнительный привкус жертвы не только собственной. Далекой от политики Марине Ивановне неоткуда было знать, что уже в мае 1937 года Разведуправление Красной армии было объединено с НКВД. И что с этого момента Эфрон принадлежал к ведомству, связанному самой прямой преемственной связью с ГПУ и ЧеКа.

Никакие оговорки не могли отменить того, что служил он теперь в том самом Учреждении, которое поглотило и Асю, и ее сына Андрюшу, и всех остальных.

Очутившись в Болшеве, Цветаева не могла не осознать эту чудовищную ситуацию.

За четыре месяца, которые она провела здесь с мужем почти безвыездно, — с 19 июня до 10 октября — можно было успеть переговорить обо всем на свете. Что же сказал ей теперь Сергей Яковлевич? В частности, о своей причастности к «делу Рейсса»? Не могли же они не коснуться этой темы! Вообразить разговор трудно. Но зададимся вопросом: а что, в сущности, мог знать Эфрон о самом Рейссе, независимо от характера собственного его участия (или неучастия) в «деле»?

Теперь это уже можно себе представить благодаря другому сохранившемуся письму Ариадны Эфрон, написанному 17 апреля 1967 года и адресованному на этот раз К. В. Воронкову — секретарю Союза советских писателей. Письмо являет собой попытку дочери восстановить справедливость по отношению — уже не к матери, а к отцу.

Ариадна Сергеевна уверена, что ее отец заслуживает не просто освобождения его имени от клейма «белогвардейца», но большего: признания его заслуг перед советской страной. И вот, характеризуя деятельность Эфрона как отважного разведчика, на протяжении десяти лет совершавшего опасные подвиги во славу родины, Ариадна Сергеевна упоминает «лозаннскую акцию» в следующем контексте: «Это было раскрытое швейцарской полицией «дело Рейсса» — крупного работника НКВД, который, попав за границу, оказался предателем, его нужно было уничтожить…»[3] Формулировка знаменательна во многих отношениях. И во всяком случае, она свидетельствует о том, что ничего реального о действительном «проступке» Рейсса (подлинная фамилия его была Порецкий) ни Ариадне, ни Эфрону не было известно. Сергей Яковлевич, скорее всего, не имел представления ни о существовании, ни о содержании написанного Рейссом гневного «Письма в ЦК партии».

Группе, сформированной для преследования и убийства, наверняка были представлены лживые сведения и «благородные» мотивы. Задание очерчено — выполняйте! Обычная практика засекреченных организаций, где все держится на слепом доверии исполнителей к руководителю.

Высокопоставленный разведчик оказался низким предателем. В его распоряжении — секретная информация государственной важности. Она не должна попасть в руки врагов советской страны. И потому — «обезвредить»! — Примерно так.

(Текст письма Рейсса и материалы, освещавшие обстоятельства убийства, появились в эмигрантской прессе тогда, когда Сергей Яковлевич уже был переправлен в СССР. Здесь же ему, разумеется, негде было их прочесть.)

Рената Штейнер, захваченная в Швейцарии полицией, признавалась в судебном заседании — и ей вполне можно верить, — что она не имела ни малейшего представления о том, как будет использован тот автомобиль, который ей было поручено взять на свое имя в прокатной фирме Лозанны (и в котором был убит Рейсе). Точно так же ранее она ничего не знала о господине, за которым ей было поручено следить в Париже, а затем в Мюлузе. Вернее, она была уверена, — ей так сказали! — что это спекулянт оружием, что он снабжает этим оружием Франко. Но кто сказал ей это — не Эфрон ли? Похоже, что в данном случае именно он! Между тем, на самом деле то был никакой не спекулянт, а сын Троцкого — Седов.

Другой сподвижник Эфрона не убил того же Седова в Антибе лишь по случайному стечению обстоятельств. Но известно, что и он — речь идет о Вадиме Кондратьеве — хорошо знал свою будущую жертву в лицо, но понятия не имел, кто это на самом деле!

И еще: необходимость похищения генерала Миллера в сентябре 1937 года объяснялась его участникам наличием якобы бесспорных свидетельств того, что генерал — глава германо-фашистской разведки во Франции!

Наверняка примеры можно умножить…

Итак, скорее всего, и сам Эфрон владел лишь крайне искаженной информацией. Насколько он это осознал теперь? И какой болью, физически разрывавшей сердце, отзывались в нем внезапные догадки об истине! Может быть, те рыдания, о которых упоминает в своих мемуарах Сеземан, — не стоит целиком относить на счет причуд памяти Дмитрия Васильевича…

Трудно сказать, был ли Сергей Яковлевич теперь откровенен с женой. Хотя многого ей и не нужно было знать, чтобы понять главное.

«Его доверие могло быть обмануто, — мое к нему останется неизменным». Так сказала Цветаева о муже на допросе во французской полиции, куда ее вместе с сыном вызывали той осенью тридцать седьмого года.

Доверие Сергея Яковлевича было действительно жестоко обмануто. Не эта ли догадка и составила самое тяжкое потрясение для Цветаевой в первые же недели ее пребывания на родной земле?

6

Существуют два достоверных свидетельства, принадлежащих перу самой Цветаевой, которые помогают до некоторой степени высветить изнутри первые недели ее пребывания на родине. К сожалению, именно «до некоторой степени», — и сейчас мы это увидим.

Только год спустя, после долгой волокиты, Цветаева получит с таможни свой багаж и достанет из кожаного кофра записную книжку, в которой сделаны последние парижские заметки. Первые строки, появившиеся на родной земле, будут датированы 5 сентября 1940 года. Цветаева коротко записывает события годовой давности:

«18-го июня приезд в Россию, 19-го в Болшево. На дачу, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефонам. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. Живу без бумаг, никому не показываясь…»

Прервем запись, чтобы отметить ее необычную стилистику: это почти что шифр. События, факты фиксируются сухо, пунктирно. Тем весомее отдельные формулировки. Что С. это Сергей Яковлевич — понятно. Но очевидно, что главное скрыто между строк, за строками, за словами. Чуть дальше Цветаева пояснит: «Все это — для моей памяти и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит такого».

Пояснение, далекое от исчерпанности.

Ибо на стилистику явственно влияет знание, приобретенное Мариной Ивановной после обысков и арестов. Спустя год она хорошо представляет себе опасность письменного слова.

Продолжим цитирование:

«Торты, ананасы — от этого не легче. Прогулки с Милей. Мое одиночество. Посудная вода и слезы…»

Упомянута Миля — это Эмилия Литауэр. Давняя близкая приятельница Клепининых и Эфрона.

(Сейчас ей тридцать пять. Из России ее подростком увез отец, она училась в Марбургском университете в Германии, потом окончила Сорбонну, лиценциат философии. Участвовала в евразийском движении, сотрудничала в газете «Евразия», публиковала в ней статьи на историко-философские темы — о Гуссерле, о Хайдеггере, о персонализме. Вступила во Французскую компартию. Из Франции она приехала почти пять лет назад. И с тех пор как в Болшеве поселились Клепинины, она здесь почти ежедневная гостья. Самый близкий ей человек в болшевском доме — Клепинина. Те, кто еще жив, не сговариваясь, запомнили Эмилию стоящей за стулом Нины Николаевны и как бы вторящей всему, что та говорила.)

Но вернемся к дневнику Цветаевой. Чуть далее: «Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день».

И еще, через несколько фраз: «Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, во всем…» И — рядом: «Обертон — унтертон всего — жуть».

Нота бене! Цветаева оставляет зарубки для своей памяти о первых днях и неделях болшевской жизни.

Именно о самых первых! До ареста дочери! О дне ареста будет сказано позже. И именно здесь — признание: «обертон — унтертон всего — жуть».

Тут можно домыслить многое…

Но почему, среди другого, в этой записи сказано: «мое одиночество»? Это звучит странно: ведь в Болшеве семья, наконец-то, снова собралась вместе, ее теперь не разделяют государственные границы, непреодолимые расстояния… Не переносит ли Цветаева из сорокового года в тридцать девятый свое ощущение сиротства? В сентябре сорокового около нее действительно уже нет ни мужа, ни дочери…

Однако сохранилось и еще одно свидетельство, на этот раз прямо из тех дней.

Это запись в так называемой «Болшевской тетради».

Цветаева завела тетрадь через месяц после приезда. Педантично отметила в ней дату: 21 июля 1939 года. На первом листке написаны два слова: «природа помощь», причем трудно сказать, цветаевский ли это почерк. Слова вполне могли бы принадлежать Марине Ивановне. Но почему они здесь — неясно.

Тетрадь предназначена для работы над переводами стихотворений Лермонтова на французский язык. Приближался юбилей поэта — 125 лет со дня рождения. Марина Ивановна решила перевести несколько лермонтовских стихотворений, чтобы затем предложить их в «Ревю де Моску» — еженедельник, где работала Ариадна. Можно уверенно сказать, что в эти дни она берется за перевод не ради заработка, а потому что без творческой работы, без нескольких утренних часов уединения за столом, с пером в руке, она страдает, ей невмоготу. Это всегда так было — и почему бы измениться теперь?..

И вот на обороте странички, запечатлевшей перевод стихотворения «В полдневный жар, в долине Дагестана…», — прозаический текст, почерком Цветаевой, на французском языке. Неясно, почему на французском? Ведь в болшевском доме все, кроме Ирины, этот язык знали. Не из-за нее же…

Текст в переводе на русский звучит так:

«Я ощущаю здесь собственную бедность, которая кормится объедками (любовей и дружб всех остальных). Судомойка — на целый день (19 июня — 23 июля), 34 длинных дня, с 7 ч. утра до 1 ч. ночи. «Ничего, это ненадолго!» Но все-таки это 34 дня моей жизни, моей головы, моих мыслей… Только я, я одна, выливаю воду из-под посуды в сад, чтобы таз под раковиной, переполняясь через край, не пачкал пол. Одна, без всякой помощи… Да и просто — одна.

Все вокруг здесь поглощены общественными проблемами (или кажутся поглощенными): идеи, идеалы и т д. — слов полон рот, но никто не видит несправедливости в том, что у меня облезает кожа на руках, — натруженных от работы, которую никто не ценит».

На обороте страницы — дата: 22 июля 1939 г.

Далее в тетради идет текст «Казачьей колыбельной».

Усталость, неприятие, раздражение, жалоба — все слилось в этой записи, сделанной, по-видимому, наспех. Это не попытка осмысления пережитого за месяц, это только мимолетный отвод горечи, не более. И хотя запись сделана на «секретном» (от неведомых чужих глаз) французском языке, в ней — ни полслова о том, что за пределами болшевского дома. Доминирующая нота — отчужденность от всех внутри домашних стен.

И похоже, что посуда и грязная вода в тазу — только повод, чтобы признаться самой себе: опять среди чужих…

(Когда два десятилетия спустя «Болшевскую тетрадь» впервые раскрыла вернувшаяся из ссылки Аля, ее рассердила эта запись. В ее памяти все было не так! Это она, Аля, вела хозяйство, мыла посуду — не мать! Такое «опровержение» и записала, со слов Ариадны Сергеевны, в свою книгу «Марина Цветаева в жизни» Вероника Лосская. Но бессмысленно подвергать сомнению искренность Цветаевой перед собой. В Ариадне Сергеевне (я сама тому свидетель) временами прорывалась застарелая раздраженность по отношению к матери. Ей самой все бытовое давалось легко и никогда не составляло страдания. Для Марины Ивановны — составляло. И даже настолько, что засилье «бытового» она отказывалась называть «прозой жизни», настаивая: это не проза, это трагедия! Потому что быт обирает живых людей, не давая осуществить себя…)

Однако болшевская запись об одиночестве вобрала в себя и некий новый оттенок.

Очевидно, что на коммунальной площади загородного дома Цветаева оказалась в теснейшем ежедневном контакте с людьми совсем иного, чем она сама, душевного замеса и склада. И дело в данном случае вовсе не в поэтическом даре.

В самом деле, все те личные друзья Марины Ивановны, которых она сама выбирала, — Волконский, Бальмонт, Сонечка Голлидэй, Анна Ильинична Андреева, Ариадна Берг — были явно «из другого теста». Даже Марк Слоним, даже Елена Извольская — люди, вовсе не лишенные общественного темперамента, — и они были иной внутренней породы, чем Клепинины, Эмилия, да даже и Сергей Яковлевич. Не высшей, не низшей — иной. Это трудно обозначить в рациональных понятиях. Что же, как не разница породы, уберегло этих выбранных самой Цветаевой друзей и от «Союза возвращения», и — тем более — от связей с какими бы то ни было «секретными службами»? Просто у них была другая генеалогия, — и в ней не было ни Желябовых, ни Клеточниковых.

Марк Слоним или Анна Ильинична Андреева тосковали об утрате родины не менее горячо и сильно, чем «возвращенцы», но вернуться в теперешнюю Москву они просто не могли. И причины были внутренние, а не внешние. Они сделали единственный возможный для них выбор. У Цветаевой он был отнят ее семьей.

Но вернемся еще к «Болшевской тетради».

Знаменательна в записи почти презрительная обмолвка о поглощенности обитателей дома политическими проблемами.

«Идеи», «идеалы», «слов полон рот», — пишет Цветаева. И мы слышим голос автора поэтического цикла «Гамлет», обличавшего героев высокой фразы; слышим отголосок пафоса «Читателей газет»…

Не сами идеи и идеалы ее всегда раздражали, но их двухмерность, бескровность, «книжность». Этот тип интеллигента она разглядела уже давно: легкого на клятвы, болеющего не меньше чем за все человечество — и не замечающего в упор ничего, что рядом.

Бесконечные разговоры об «идеалах» в ее глазах — симптом. Опознавательный знак, мета. За которой чаще всего — структурные дефекты личности — или, скажем осторожнее, — ее особенности. И эти «особенности» мы еще — увы! — увидим…

Итак, в записи сказано еще и об этом — об ощущении себя, так сказать, инородным телом среди прочих болшевцев.

Между тем никакой иной среды здесь у Марины Ивановны нет.

Ибо по существу она живет под домашним арестом.

Мария Белкина приводит в своей книге фразу, сказанную уже в ноябре Пастернаком Анатолию Тарасенкову (последний занес ее в свой дневник): о том, что Цветаева вернулась на родину и живет здесь инкогнито.

Но почему же инкогнито? И почему взаперти? Вразумительного ответа ждать пока не от кого. Похоже только, что причина — та же, какая вынудила ее мужа носить фамилию «Андреев». Ибо если Эфрона нет в СССР, значит, и жены его здесь не должно быть. Дабы и вопросов не возникало. Потому ее выезды из Болшева — если не запрещены, так «не рекомендованы». Что для советских граждан равносильно строжайшему запрету.

За все время с середины июня по 10 ноября тридцать девятого года достоверно известен единственный выезд Цветаевой в Москву. В дневниковой записи сорокового года дата этой поездки означена отсчетом от дня ареста Ариадны: «Последнее счастливое видение ее, — дня за 4 — на С.Х. выставке «колхозницей» в красном чешском платке — моем подарке. Сияла».

Значит, это было в двадцатых числах августа.

21 августа Цветаева получила паспорт, скорее всего в Москве. Не оттого ли и стало возможным посещение выставки?

Но все это означает, что Марина Ивановна оказалась обречена на ежедневное общение с людьми, которых она не сама выбирала. Может быть, это объясняет нам остроту ее жалобы в болшевской тетради?..

7

При всем том чета Клепининых по-своему замечательна. Одна из наиболее ярких ее черт состояла в теснейшем сплетении глубокой и деятельной религиозности — с сильнейшей потребностью в общественной активности.

Нина (Антонина) Николаевна, урожденная Насонова, дочь известного ученого-биолога, еще до революции получившего звание академика, училась на Бестужевских курсах, потом занималась живописью у Петрова-Водкина. Была секретарем городской продовольственной управы в период Февральской революции. Позже, уже во Франции, примкнула к евразийскому движению. В тридцатые годы была одним из инициаторов основания Патриаршего прихода в Париже на рю Петель, подчинявшегося российскому патриарху.

Николай Андреевич во время гражданской войны — поручик Деникинской армии, «сиделец» в Константинополе, а в 1926 году — участник Первого зарубежного монархического съезда. Через короткое время — он уже член ЦК «евразийской организации». Затем поездка в Америку и учеба в университете Бостона. По возвращении — недолгое время — сотрудник издательства «ИМКА — Пресс», секретарь Русского Богословского Института в Париже. Журналист, сотрудник еженедельника «Завтра», автор нескольких статей в философском журнале «Путь» и двух книг. Родной брат священника Дмитрия Клепинина, получившего известность прежде всего тем, что в годы второй мировой войны был сподвижником известной матери Марии, спасавшей евреев от фашистов.

В 1933 году супруги завербованы Эфроном в советские спецслужбы. Нина Клепинина возглавит вскоре бельгийскую группу эмигрантских секретных сотрудников. В феврале 1936 года, исполняя поручение, она поедет с семьей в Норвегию, дабы подтвердить место проживания Троцкого. Она даже беседует с Львом Давыдовичем минут пять-семь, — о чем впоследствии ей придется писать — уже арестованной! — «объяснительную записку» в стенах Лубянки.

Клепинины оба любят поэзию, неплохо ее знают, при случае и сами способны написать стихи. А Нина Николаевна временами что-то переводит с русского на французский, и, кажется, именно поэзию. Оба давно знакомы и с Эфроном и с Цветаевой. Сын Клепининой Алексей Васильевич утверждал даже, что его мать знала Марину Ивановну еще со времен учебы на Бестужевских курсах, — уже тогда они бывали в общих компаниях. А потом встречались в Берлине. И уж затем — во Франции, где жили всегда неподалеку друг от друга и где установились с середины тридцатых годов их особые связи с Сергеем Эфроном.

Супруги Клепинины с уважением и даже почтением относятся к Марине Ивановне. Это проявится и на допросах. Ибо там их будут спрашивать и о Цветаевой…

В это лето по выходным дням в болшевском доме устраивали иногда нечто вроде литературных вечеров. Как чтец тут блистал молодой Дмитрий Николаевич Журавлев. Он приезжал в Болшево вместе с Лилей Эфрон, которая была его режиссером. И с удовольствием читал стихи и прозу. Тут были его любимые слушатели, а кроме того, замечательная площадка для «прокатывания» новых программ.

Читает свои стихи и Марина Ивановна. В такие вечера ее видят оживленной и приподнятой. Она преображается.

Что же именно она здесь читает? Ни двенадцатилетняя Софа, ни юная жена Алексея Сеземана не знали тогда цветаевской поэзии. Ирине Павловне запомнилось неопределенное: «что-то о белых лебедях…»

Неужто здесь она читает свой «Лебединый стан»? В стране победившего воронья? Но какие еще могут быть лебеди, кроме тех, обреченных, среди которых был тогда ее Сережа? «Лебединый стан», стихи о Белой армии, созданные в трагическое трехлетие 1918–1920…

— Где лебеди? — А лебеди ушли.

— А вороны? — А вороны — остались.

В памяти Дмитрия Сеземана сохранилось и другое: чтение Цветаевой стихотворений Пушкина, переведенных ею на французский язык.

А после чтения Журавлевым глав из «Войны и мира» в один из таких вечеров возник спор. Прослушав эпизод первого бала Наташи Ростовой, Цветаева задумчиво сказала: «Толстой умудрился влезть в шкуру портнихи. Вероятно, это хорошо». Это «вероятно» вызвало тогда оживленную полемику…

Крайне недоброжелательный по отношению к Цветаевой Сеземан, человек категоричных суждений, слишком часто основанных не на фактах, а только на субъективных пристрастиях и антипатиях, все же отдает должное Марине Ивановне, вспоминая ее чтение на этих домашних вечерах. В такие часы, пишет Сеземан, «наступали моменты, когда даже не чрезмерно чуткому мальчишке открывалось в Марине Ивановне такое, что решительно отличало ее от каждого из нас».

«Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионов и институтов благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах: коротко стриженые волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжелые серебряные запястья — все было серым. Сами стихи меня смущали, слишком они были непохожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала моя мать. А в верности своего поэтического вкуса я нисколько не сомневался. Но то, как она читала, с каким-то вызовом или даже отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мной не испытанное. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих — во всяком случае в эти мгновения — был единственным оправданием ее жизни. Цветаева читала, как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов»[4].

По воспоминаниям С.Н. Клепининой-Львовой, особое напряжение сгустилось над болшевским домом как раз незадолго до приезда Марины Ивановны и Мура.

И это очень правдоподобно.

Ибо в начале лета тревога не могла не охватить всех, кто имел какое-либо отношение к ВОКСу — Всесоюзному обществу культурных связей с заграницей. Организацию эту «трясло» уже давно, — с того момента, как был снят со своего поста и вскоре посажен на скамью подсудимых нарком внешней торговли СССР Аркадий Розенгольц. Арестован был и председатель ВОКСа писатель Александр Аросев, совсем недавно ездивший вместе с Бухариным в Париж.

Разнообразная деятельность общества включала обслуживание иностранных гостей, приезжавших в СССР, — делегаций и «индивидуалов». Тут часто устраивались приемы, на которых рядом с иностранцами и советскими деятелями разных сфер и рангов всегда толклись журналисты. Переводчики — как, разумеется, и сотрудники НКВД — были здесь постоянными посетителями.

ВОКС был прибежищем многих вернувшихся с чужбины русских: где как не здесь они могли использовать свое чуть ли не единственное преимущество перед другими: хорошее знание французского языка.

Теперь, в июне тридцать девятого, арестовали Нину Мосину — редактора информационного бюллетеня ВОКСа. Она была из бывших эмигрантов, из числа тех, кому помог вернуться на родину Эфрон.

С Мосиной были знакомы и Ариадна, и старший Клепинин, числившийся референтом Восточного отдела ВОКСа, и пасынок Клепинина Алексей Сеземан.

Но обитатели болшевского дома еще не догадываются, насколько опасно для них обвинение, предъявленное арестованной. Ибо обвиняют ее в привлечении на работу в ВОКСе «троцкистских кадров»!

Понятно, что любой бывший эмигрант наилучшим образом годился под аттестацию такого типа.

Журнал, в котором сотрудничала Ариадна, — «Ревю де Моску» — имел с Мосиной самые прямые контакты. А в последние месяцы Ариадна и старший Клепинин как раз усиленно хлопотали об устройстве на работу в штат редакции их приятельницы — Эмилии Литауэр. Она все еще не имела постоянной службы…

Цветаева уже жила в Болшеве, когда стала известна другая новость: 27 июля арестовали еще одного сотрудника ВОКСа — Павла Николаевича Толстого.

Он тоже был из числа вернувшихся эмигрантов, и даже из числа тех, с кем еще во Франции был хорошо знаком Эфрон. Теперь же с ним поддерживали контакт и Ариадна, и Эмилия Литауэр, и Алексей Сеземан — последним двум он давал время от времени переводы для заработка.

Скрыли ли это от Марины Ивановны, оберегая от лишних переживаний?

Трудно сказать. Хотя знать это было бы важно: насколько с ней теперь-то были откровенны и муж и друзья мужа. Зато бесспорно другое — все эти новости должны были восприниматься Клепиниными и Эфроном не иначе, как приближающиеся шаги Командора.

8

Как оценивали на болшевской даче происходящее вокруг?

Насколько расстались с иллюзиями, вывезенными из эмигрантского далека, — о стране социализма и о великом эксперименте? Насколько обольщались еще надеждами?

Теперь об этом уже можно сказать с достаточной уверенностью.

Свидетельствуют страшные документы эпохи: протоколы допросов.

Ибо шестеро из тех, кого видела и слышала Марина Ивановна этим летом под соснами просторного дачного участка (или на террасе дома — или у камина в гостиной), спустя всего три-четыре месяца будут давать показания в кабинетах следователей НКВД…

Приходится, конечно, постоянно иметь в виду принужденность их признаний, возможность выдумок — того, что нельзя даже назвать клеветой, памятуя об условиях, в какие попадали узники советских тюрем.

Но все же. Сравнивая показания шестерых, их совпадения и расхождения, соотнося с тем, что из письменных и устных воспоминаний узнаёшь о личности этих людей, все-таки можно отделить сочиненное от реального.

И потому теперь уже есть какая-никакая возможность ответить на вопросы, которые еще совсем недавно оставались без ответа.

Иллюзии у обитателей и гостей болшевского дома сохранялись. Они были теми же, что у многих, начинавших уже тогда прозревать, но все еще не способных поверить в неправдоподобное зло, правившее великой державой. И поверить в него было действительно трудно — именно из-за его глобальности и изощренности. Как иначе объяснишь столь упорное непонимание советского кошмара журналистами, писателями, учеными Запада, приезжавшими в СССР или издали следившими за развитием событий?..

Иллюзии стойко держались.

Но ситуация в стране уже не представляется недавним эмигрантам в радужных тонах. Пыльца с крылышек надежд основательно пооблетела. В доме звучат разговоры о низком уровне жизни в стране, о нищенской оплате за адский труд, о том, что эксплуатация вовсе не исчезла, что сталинская конституция — фикция, с которой никто не считается. Говорят о безграмотности и бескультурии советских редакторов журналов и газет, о нелепостях цензурных установок.

Говорят и о разгуле репрессий. О том, что все друг друга теперь боятся, что не на кого опереться, ни в ком нельзя быть уверенным. А в НКВД все пересажали друг друга…

Николай Андреевич все чаще выпивает, и ему теперь уже хватает рюмки, чтобы потерять контроль над собой. И вот, когда контроль потерян, этот мягкий умница и душевно тонкий человек позволяет себе самые безоглядные высказывания; он попросту зло матерится по адресу высших властей и порядков в стране.

Вспоминала ли теперь Нина Николаевна разговор со своими родителями в середине тридцатых годов, когда те приезжали в Париж на короткое время? Как ужаснулись они, услышав о намерении дочери вернуться с семьей на родину! Как пытались предупредить о нараставшей уже в стране волне арестов — и как в ответ весело и упрямо дочь отвергала все предостережения.

— Детей хоть пожалейте! — услышала она тогда от матери. Но отмахнулась и от этого.

Вернувшись и довольно скоро поняв промашку, Нина Николаевна осталась верна себе: она и на родине — до поры, до времени — пыталась жить не по чужой указке.

Как и другим приехавшим в СССР сотрудникам зарубежных советских спецслужб, ей нельзя было выезжать из Москвы без позволения высокого начальства. Но она ездила — и, кажется, не однажды — в Ленинград: повидаться с братом и друзьями. Не полагалось переписываться с заграницей — она делала это, используя любую оказию. Запрещено было говорить непосвященным о своих связях с НКВД (это называлось «расшифровать себя») — Клепинины и с этим запретом мало считались.

Вся молодость их прошла в свободной стране, — чужой и неблагополучной, но свободной Франции, — и им была непонятна психология тех, кто здесь, в родных краях, уже двадцать с лишним лет подряд, год за годом, набивая шишки, в страхе за себя и своих ближних, отвыкал от свободы, внешней и внутренней.

И уж у себя-то дома, в своем кругу, Клепинины тем более не оглядываются, не осторожничают. Они говорят все, что им приходит в голову. В те годы можно еще было не бояться «ушей» в стенах и потолках, тех жучков-микрофончиков, которые загнали — спустя четверть века — советского интеллигента в кухню или в ванную. Туда, где беседа надежно заглушалась шумом радио или льющейся во всю мочь воды.

На болшевской даче говорили друг с другом без всяких помех.

Как вскоре выяснилось, и это было уже неблагоразумно.

Ибо есть устрашающая подробность в показаниях арестованных.

9

Всякий, кто приезжал в Болшево из Москвы, вез с собой ворох свежих газет и журналов. Читали их здесь с въедливой пристальностью, хотя трудно представить себе что-нибудь менее похожее на реальную жизнь, чем советские газеты конца тридцатых годов. Но если все-таки вообразить, что некий отдаленный потомок попробует довериться этим страницам, первым его простодушным выводом будет тот, что страна Советов в лето 1939 года жила постоянным ожиданием очередного небывалого праздника. Или небывалого свершения.

Поддержание в своих читателях перманентно приподнятого градуса существования, похоже, представлялось задачей номер один редакторам всех без исключения советских газет.

Они писали о великих стройках или — в крайнем случае — о великих замыслах. Кружили головы сообщениями о сверхдальних полетах летчиков, о завершении строительства Большого Ферганского канала. Подробнейшим образом обсуждали поправки к проекту Дворца Советов. Грандиозное сооружение предполагалось увенчать стометровой статуей Ленина. Президент Академии архитектуры Веснин произносил по этому поводу патриотические речи. Архитектор Иофан рассуждал о создании особого «советского стиля» в архитектуре.

Помпезный, как всегда, физкультурный парад состоялся 20 июля, но даже генеральная его репетиция подробно освещалась прессой. В этот год репетиция началась на Красной площади 16 июля в три часа утра — с оркестром и со всей роскошью оформления! Среди прочих выдумок на этот раз был футбольный мяч высотой с двухэтажный дом. Он катился по Красной площади, а на его маковке непонятным образом держалась живописная группа спортсменов, преданно вперившихся в трибуны.

В восторженный отклик «Известий» неожиданно вторглись воинственно-агрессивные ноты: «Окрыленные счастьем дочери и сыновья великого советского народа, — надрывно вещал корреспондент, — напоминают, что они умеют не только работать и отдыхать, но готовы сокрушить любого врага, который вздумает посягнуть на нашу любимую родину…»

Чуть позже, в августе, в День авиации, в Тушине был разыгран мощный спектакль, — и далеко не все поняли, что то была инсценировка: бомбардировщик бросал бомбы на некий дальний объект, где вспыхивало всамделишное пламя, с черными тучами дыма, закрывавшими горизонт.

Приближалось и долгожданное открытие грандиозной Сельскохозяйственной выставки. Из номера в номер «Правда» и «Известия» помещали фоторепортажи о павильонах разных республик. На фотографии узбекского павильона сельскохозяйственные экспонаты затмевала монументальная скульптура: Ленин и Сталин сердечно беседуют, сидя рядком на скамейке.

Праздник торжественного открытия был назначен на 1 августа. Этот день и стал неким ликующим центром лета.

Бывшая Сухаревка, где двадцать лет назад бурлила знаменитая толкучка и молодая Цветаева выменивала шило на швайку, чтобы прокормить двух своих девочек, — была переименована в Колхозную площадь. Здесь и состоялся всенародный праздник.

Около двухсот флагов развевались над главным павильоном ВСНХ, где были установлены трибуны. Берия и Вышинский вместе с другими вождями взирали на организованно пришедшие массы.

Открытие состоялось, начались будни. Но газеты ежедневно заполнялись радостными сообщениями о прибытии на выставку многочисленных делегаций со всех краев и областей обширной страны. Август стоял на дворе — самая страда уборки урожая. И все же тысячи посланцев из сельских районов страны продолжали высаживаться из вагонов на столичных вокзалах, — и газеты приглашали своих читателей радоваться по этому замечательному поводу.

На первой странице августовских «Известий» Алексей Толстой с художественным присвистом пел свой дифирамб советской отчизне, скромно озаглавив его «Фундамент счастья»: «Некогда нищая Россия вынеслась далеко вперед самых передовых стран… За плугом, глубоко вспахивающим исторические целины коммунизма, шел товарищ Сталин, партия и правительство СССР, опираясь на разум и творческие силы народов одиннадцати советских республик. И одушевленные построением изобильного, счастливого нового мира, они построили его». Так утверждал писатель, заслуги которого перед отечественной литературой были вознаграждены открытием особого личного счета в Государственном банке. И продолжал, пьянея от собственного энтузиазма: «На этой выставке колхозник и колхозница, подбоченясь, смело могут сказать: «Ну, как вы там — за рубежом, а вы чем за эти годы похвастаетесь?» Хвастаться за рубежом как будто и нечем…»

Но вот 24 августа на первых полосах всех газет появились крупные фотоснимки: довольные лица Сталина и Молотова рядом с Риббентропом и Гауссом. Пресса и радио принесли известие о событии, которое, как сказали бы еще вчера, потрясло все прогрессивное человечество.

Страна, на которую только что не молились антифашисты всех континентов как на несокрушимый заслон германской агрессии, заключила с Гитлером Пакт о ненападении.

Через два дня, прервав переговоры, Москву покинули военные миссии Англии и Франции.

Еще через день внеочередная сессия Верховного Совета ратифицировала Пакт и — одновременно — приняла закон о всеобщей воинской повинности. В зале, как сообщали газеты, «аплодисменты достигают стихийной вихревой силы при появлении товарища Сталина»…

Ровно через неделю станет известно о начале массированного наступления немецких войск в Польше. Информация в советской печати теперь будет подаваться с явным сочувствием к агрессору. Читателю предлагалось поверить в то, что поляки виноваты сами: не идут ни на какие уступки, вынуждая гитлеровцев на военные действия!

Еще было не очевидно то, в чем пришлось убедиться в самом ближайшем будущем: началась вторая мировая война. Война, о возможности которой Марина Цветаева с каким-то вещим ужасом думала еще в последние месяцы своей жизни в Париже…

Как отнеслись к заключению Пакта обитатели болшевского дома? Догадаться несложно. Ибо если политической дальновидностью похвастаться они не могли, то уж ненависть к фашизму разделяли со всей «левой» европейской интеллигенцией. Им трудно было — до поры до времени — придумать не только оправдание, но простое прагматическое объяснение этому шагу советского правительства. И только некоторое время спустя, когда вдруг возникла острая жизненная необходимость «освободить» Западную Украину и Западную Белоруссию от гнета польских панов и прочих поработителей, смысл происшедшего стал яснее.

Но это произойдет позже.

Косвенным свидетельством отношения болшевцев к «замирению» с гитлеровским режимом окажутся рисунки, которыми — через месяц-другой — будет восхищать своих одноклассников Георгий Эфрон.

То были яркие и злые антифашистские шаржи. Мур рисовал их без устали, дома и в школе, раздавая всем, кто ни попросит. Многие уносили рисунки домой.

Итак, 23 августа заключен Пакт.

А 27, в воскресенье, рано утром, в Болшеве была арестована Ариадна.

Ждали чего угодно, но не этого.

10

Аля приехала накануне вместе с Гуревичем. И он остался на выходной, как уже не раз бывало. В доме в те дни привычно гостила Миля Литауэр. Сотрудники Лубянки, проводившие обыск, спросили у гостей документы. Записали в протокол обыска имена, данные прописки, место службы. И для Эмилии это оказалось роковым. Несколькими часами позже — Алю уже увезли, Эмилия оставалась, — на той же энкаведешной машине приехали снова, со срочно изготовленным ордером на арест, — увезли и ее.

Ариадна еще увидит свободу — для Эмилии это утро стало последним на воле.

Когда вечером этого страшного воскресенья в Болшево примчалась Нина Гордон (ей сообщил о происшедшем вернувшийся в Москву Гуревич), она застала на эфроновской половине дома мертвую тишину.

«Терраса была пуста. Марина Ивановна и Сергей Яковлевич сидели в комнате. Внешне и она, и он были спокойны, только плотно сжатые губы да глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало. Обедали. Потом Марина Ивановна собралась гладить. Я сказала: «Дайте я поглажу, я люблю гладить». Она посмотрела долгим отсутствующим взглядом, потом сказала: «Спасибо, погладьте» и, помолчав, добавила: «Аля тоже любила гладить».

Я стояла и гладила, молча и тихо глотая все время подступавший к горлу комок, а Сергей Яковлевич все сидел и сидел на постели и неотрывно глядел на стол. Его глаза, огромные, застывшие, забыть невозможно…»[5]

В ближайшие же дни больной Эфрон уехал в Москву. Вряд ли ему удалось попасть на прием к кому-нибудь достаточно ответственному. У него не было здесь «важных связей». Все отмахивались от таких просьб и вопросов — их были сотни. По свидетельству Клепинина, Сергей Яковлевич пребывал в эти дни в состоянии глубокого отчаяния. Он уверен был теперь и в собственном аресте.

И все-таки написал письмо на имя наркома. Он ручался за политическую благонадежность дочери и Эмилии Литауэр.

Никакого действия письмо не возымело. Вряд ли вообще был какой-нибудь ответ. Но письмо дошло по адресу, — Эфрону припомнят потом его текст, когда он сам уже будет в застенках Лубянки.

От младших обитателей дома взрослым удалось скрыть происшедшее. Дмитрия в эти дни здесь не было — его увезли в Москву, в больницу: у него обострился туберкулезный процесс. Не было уже и семьи Алексея: лето кончилось, и все трое тоже уехали в столицу.

Софа и Мур спали на дальней террасе. Обыск производили только в одной комнате дома, которую указали как Алину, шума особенного не подымали. Не было еще и девяти утра, когда непрошенные гости уехали, увозя с собой Ариадну. Крепкий детский сон уберег Мура и Софу до поры до времени от переживаний. Когда они встали к завтраку, им было сказано что-нибудь вроде того, что у Али и Гуревича оказалось срочное дело, они уехали в Москву. Через неделю придумали другую ложь. И вплоть до ареста отца Мур пребывал в неведении о судьбе сестры.

Тем тяжелее было его потрясение, когда в октябре все разъяснилось.

С некоторым запозданием Мур начал в сентябре ходить в школу. Он сразу обратил на себя внимание, так что потом его легко вспоминали соученики, когда почти через полвека в Болшеве стали разыскивать малейшие сведения о Цветаевой и ее семье. Мальчик был красив, высок — и доброжелателен. Но прежде всего его выделяла среди других необычная одежда. Он ходил в странных коротких брюках, ботинках на толстой подошве, курточке, снабженной молниями где только можно. Внешняя необычность соединялась в нем с общительностью, раскованностью. Мур вовсе не кичился своей непохожестью на остальных, не разыгрывал высокомерия, он был открыт и разговорчив. А еще его выделял среди других отличный немецкий язык. И его рисунки!

Есть и одна странная подробность в рассказах его однокашников: они говорят, что Мур охотно рассказывал об Испании, так что у многих создалось впечатление, что он сам там побывал. Фантазии? А может быть, осознанное участие в версии, придуманной для отца «органами»?

Ходить в школу надо было через лес, и совместная эта дорога — туда и обратно — успела расположить к Муру попутчиков. Хотя он проучился-то там всего два месяца. Разумеется, никто тогда не имел ни малейшего понятия, кто его мать и кто отец.

Но на их участке однокашники никогда не появлялись.

Младшие обитатели дачи имели строжайшее указание Нины Николаевны: в гости никого не водить и самим ни к кому не ходить тоже. Они это легко, без лишних вопросов, усвоили, — им даже, пожалуй, нравилось, что они особые, не такие, как все. Поселковые дети тоже это быстро поняли и не совались к «заграничным».

Только однажды мальчик из ближней, «энкаведешной» же дачи, скучая, попробовал было заговорить с Муром и Митей, болтавшими по-французски на какой-то ближней опушке. Мальчик сам был из таких же и французский знал. Но не тут-то было! Надменные мальчишки проигнорировали чужака. А он, Леонид Шапиро, много лет спустя вспомнил этот эпизод. Тем более что потом он увидел — так случилось — их дачу опустевшей, со следами поспешного бегства.

Об Але долго не было никаких сведений. Не удавалось переслать ей даже передач: первую приняли от Марины Ивановны только в декабре.

В болшевском доме поселилась особая пустынная тишина.

Подолгу жил в Москве Николай Андреевич Клепинин — в гостинице «Балчуг» у него был постоянный номер. Часто ездила теперь в столицу Нина Николаевна, навещавшая сына в больнице.

Холодало. Все чаще шли дожди и дули осенние ветра. Между тем теплая одежда Марины Ивановны и Мура лежала в их багаже, прибывшем из Парижа еще в начале августа. Багаж застрял на таможне. Сначала из-за отсутствия у Цветаевой советского паспорта, затем препятствием стало то, что адресован был багаж на имя Али.

Гости уже не приезжали на прокаженную дачу.

Некого стало ждать из Москвы в конце рабочей шестидневки.

Видимо, к этому времени относится зрительно четкое воспоминание-зарисовка С. Н. Клепининой-Львовой: «Гостиная с окнами на железную дорогу; у одного из окон стоит Марина Ивановна в характерной для нее позе: сложив руки на груди (с папиросой в правой) и даже чуть обхватив себя за плечи руками, словно поеживаясь: в доме тишина, видимо, никого, кроме нас двоих, нет (это случалось нередко, ибо я не помню, чтобы Марина Ивановна уезжала из дому, в отличие от остальных взрослых). Итак, тишина, сумерки, свет в комнате еще не зажжен, камин тоже не горит: Марина Ивановна стоит у окна вполоборота — я на фоне стекла вижу ее профиль, — но смотрит она в окно. Что-то очень сиротливое, холодное, неуютное… Профиль ее <…> был прекрасен: тонкий, одухотворенный, какой-то летящий…»[6]

18 сентября радио передало речь наркома иностранных дел Молотова. Население Советского Союза оповещалось о переходе войсками Красной армии польской границы, чтобы «взять под защиту жизнь и имущество» братьев-славян в Западной Украине и Белоруссии. Началась эпопея «освобождения».

И уже через день газеты и радио сообщали о ликовании освобождаемых. Без ликования — или проклятий! — жизнь советского гражданина представлялась власть предержащим неполноценной.

«Чудесные перемены», «Жизнь забила ключом», «Львов ликует», — сообщали газетные заголовки.

Как было заведено, активно подключались к очередной кампании деятели искусства.

В Западную Украину отправился знаменитый танцевальный ансамбль Моисеева. На газетных страницах публиковали стихотворные приветствия происходящему Максим Рыльский, Перец Маркиш, Елена Рывина. Стихи были полны пафоса и звона — и такого мертвящего холода, что ни одно из них теперь просто невозможно дочитать до конца.

Тем временем разгоралась война в Европе.

Карта военных действий перекочевала с четвертой газетной полосы на вторую. Масштаб карты все более укрупнялся. 4 октября в одной из центральных советских газет Цветаева могла прочесть леденящее душу сообщение: шедевры Лувра упаковывались для эвакуации из Парижа…

И вот наступило 10 октября.

Третий арест на болшевской даче: теперь увезли на Лубянку Сергея Яковлевича.

На протоколе обыска поставила свою подпись Марина Цветаева.

На этот раз все произошло на глазах четырнадцатилетнего Георгия. Его состояние было ужасным, — об этом рассказала все та же Софья Николаевна Кпепинина.

Незачем пытаться воссоздать чувства Марины Ивановны. Можно себе представить только, что ее отчаяние во сто крат усугублялось отъединенностью от тех, кого она могла бы назвать близкими сердцу друзьями…

11

Но где же все это время Борис Леонидович Пастернак? Неужели давняя нежность и дружба бесследно исчезли к тридцать девятому году и возвращение Цветаевой не пробудило желания немедленно увидеться?

Об этом мало что известно. Но среди гостей болшевской дачи ни в чьих воспоминаниях Пастернак не назван.

О приезде Марины Ивановны он не мог не узнать сразу. Ибо еще со времени своего пребывания в Париже на антифашистском конгрессе Борис Леонидович поддерживал теплые отношения с Ариадной Эфрон. Мягкой опекой двадцатидвухлетняя Аля помогла тогда ему справиться с тяжелейшей депрессией, которую Пастернак привез с собой из России и мучительно пытался преодолеть.

С тех пор, как весной тридцать седьмого года Ариадна (первой из семьи!) приехала в Москву, они виделись не слишком часто. Но как раз в июне тридцать девятого — то ли в канун ареста Мейерхольда (это произошло 20 июня), то ли вскоре после этого — Пастернак пришел к Але в редакцию журнала. И они отправились неподалеку, на скамейку бульвара, чтобы поговорить вдали от чужих ушей.

(Эту соотнесенность с датой ареста Мейерхольда я хорошо помню из моего разговора с Ариадной Сергеевной в начале семидесятых годов. А это значит, что Борис Леонидович узнал сразу о приезде Марины Ивановны. Как и о том, что она будет жить в Болшеве.)

Весь июнь Пастернак провел в Москве. Он прервал работу над переводом «Гамлета», чтобы срочно перевести (видимо, то был конкретный заказ) несколько стихотворений венгерского поэта Петефи. В Переделкине его ждала жена с детьми, среди которых был полуторагодовалый Ленечка. Пастернак приедет к ним в самом начале июля.

Переделкино и Болшево — это совсем разные направления от Москвы, так что в июле и августе связь между поэтами была бы затруднительна.

Когда же все-таки они увиделись впервые? Точные сведения об этом отсутствуют.

Критику Тарасенкову Пастернак скажет о приезде Цветаевой только в начале ноября, и этот человек, постоянно вращавшийся в литературных кругах, выслушает сообщение с изумлением. Спустя пять месяцев с момента приезда Цветаевой на родину об этом почти никто не знает! В книге Белкиной приведена дневниковая запись Тарасенкова, где, среди прочего, — фраза Пастернака: «Она и у меня была всего раз…»[7]

Это может означать, что Цветаева сама приезжала к Борису Леонидовичу. Когда же? В тарасенковской записи — ни намека, ни слова об арестованной дочери или арестованном муже. Может быть, они увиделись еще в июне, до отъезда Пастернака из Москвы в Переделкино?

Однако в других, вызывающих доверие, воспоминаниях (Е. Б. Тагера) отражены колебания Бориса Леонидовича: ехать или не ехать к Цветаевой. И как бы речь идет о том, чтобы увидеться впервые. А вместе с тем Тагер ссылается при этом на черновик осеннего письма своей жены.

Из текста этого черновика следует, что Пастернаку кое-кто из писательской братии ехать к Марине Ивановне не советовал: опасно! слишком опасно!

Что ж, действительно, это было не безопасно. Но ездил же в Болшево Дмитрий Журавлев, ничей здесь не родственник? Бывала Нина Гордон, у которой уже был арестован муж. А давняя подруга Клепининой Лидия Максимовна Сегаль-Бродская гостила здесь с мужем постоянно.

Шли на риск. И знали, что ни от чего не застрахованы.

Можно, впрочем, предположить нечто романтически конспиративное. Борису Леонидовичу, пока он жил в Москве, не столь уж сложно было приехать в Болшево. Они могли бы с Мариной Ивановной предварительно сговориться, скажем, по телефону, встретиться на пригородном перроне и, никому из обитателей болшевского дома не докладываясь, хоть целый день прогулять по окрестным лесным дорожкам.

Реально. Но предположение, увы, ни на чем не основано.

Надо еще иметь в виду, что вокруг Пастернака в последние месяцы — сплошные аресты. Вблизи и вдали. Летом тридцать седьмого года кончает самоубийством в Грузии, — предвосхищая арест, — друг Бориса Леонидовича поэт Паоло Яшвили. В октябре того же года в Тбилиси репрессирован другой его близкий друг — Тициан Табидзе. К лету тридцать девятого в одном только подмосковном поселке Переделкино арестовано более двадцати писателей. Среди них — Борис Пильняк, с которым Цветаева успела подружиться во время его наездов в Париж в начале тридцатых годов, Исаак Бабель, с которым она тоже была знакома по Франции. В мае тридцать восьмого уже во второй раз арестован Осип Мандельштам. Между тем еще за три года до того Пастернак пытался вступиться за него через Бухарина, — к тому времени и относится известный телефонный звонок Сталина в пастернаковскую квартиру. В тридцать пятом Борис Леонидович помогал Ахматовой составить письмо на имя Сталина в защиту ее мужа и сына. И сам отнес тогда это письмо к кремлевским воротам, в специальный — для таких посланий — ящик.

Поведение Пастернака во всех этих ситуациях — безукоризненно. Так что остаются два объяснения: либо он долгое время не знает об арестах на болшевской даче — либо это мы не знаем (ибо не осталось свидетельств) о его встречах с Цветаевой до начала ноября.

И все-таки очень похоже на то, что в эти страшные осенние месяцы — после ареста Сергея Яковлевича — рядом с Мариной Ивановной не оказалось ни одного по-настоящему близкого ей человека.

12

Тем временем в кабинетах следователей НКВД все более отчетливо формируются контуры очередного «дела», участниками которого должны стать обитатели и гости болшевского дома.

Отметим в протоколах допросов один неожиданный аспект. Тот, который был несколько ранее назван «устрашающими подробностями».

Арестованных настойчиво спрашивают, в частности, друг о друге и о темах разговоров на даче в Болшеве. Естественно, что все идет под грубейшим и — скорее всего — физическим нажимом. Требуются рассказы отнюдь не про болезни или погоду. Нужны «антисоветские высказывания».

Первой «раскалывают» Ариадну, которая первой и была арестована. Она начинает «признаваться» через месяц после начала допросов. И, как это обычно бывает в таких случаях, чем больше она говорит, тем большего от нее требуют. Добившись мало-мальских конкретностей, ими шантажируют других, вынуждая что-либо добавлять и уточнять.

Веревочка вьется дальше и обрастает понемногу гроздью «признаний», становящихся в конце концов весомой и грозной уликой для обвинения в «антисоветских сборищах».

И когда это преподносят допрашиваемому, тот пытается защититься.

Но как!

Тут-то и возникает шок у читающего протоколы допросов. Шок, от которого нелегко оправиться.

«Сама я антисоветских разговоров не вела, — записано в показаниях Ариадны Эфрон, — и ставила о них в известность сотрудников НКВД, с которыми поддерживала связь».

Ставила в известность? То есть как же это? Может быть, тут всего лишь самооговор, попытка защититься в невыносимых условиях?

Но сопоставим эту фразу с тем, что Ариадна Сергеевна рассказывает следователю: перед отъездом из Парижа ей, руководившей молодежной секцией в парижском «Союзе возвращения на родину», было предписано советским полпредством встречаться с некоей сотрудницей НКВД Зинаидой Степановой. И Аля с этой Степановой регулярно встречалась! Она рассказывает теперь, что обычно это происходило в кафе «Националь». И что же, во время этих встреч дочь Цветаевой «информирует» («отчитывается», «сообщает» — кто знает, как это называлось!), в том числе и о том, кто, что и как говорил в ее ближайшем окружении?..

В конце тридцать седьмого Степанова была «отстранена от работы» (видимо, сама арестована). Ее тут же заменили неким «Иваном Ивановичем», а затем «Николаем Кузьмичем»… Правда, Клепинин на допросах утверждал, что люди эти предназначались для разрешения, прежде всего, бытовых вопросов… Тогда почему же Ариадна просила вызвать к ней Зинаиду Степанову на очную ставку?

Но вот и Сергея Яковлевича на одном из допросов уличают в неискренности и укрывательстве преступных высказываний. Ему приводят показания Павла Николаевича Толстого, а потом и дочери, а еще позже и остальных — и требуют подтвердить, дополнить, пояснить.

Что же говорит в свое оправдание Эфрон, сдержаннее и мужественнее многих и многих державшийся на допросах? «Я сообщал об этом устно, — отвечает он. — Я предупреждал, что не доверяю Клепининым».

А что говорит арестованный Алексей Сеземан? В ответ на обвинения в подозрительных связях с финским посольством он сообщит, что уже писал в свое время «рапорт» об этом в НКВД. Тогда случился некий разговор с финским чиновником — совершенно невинный! — и законопослушный бывший эмигрант сам на себя строчит бумагу. Это Чехов еще мог смеяться, сочиняя веселый образчик «сверхбдительности»: самого себя отвести в участок. В советское время это уже не смешно.

А Эмилия Литауэр расскажет на допросах о том, как она впервые познакомилась с известным графом Игнатьевым еще во Франции, где тот служил в советском торгпредстве. Затем они встречались уже в СССР. И Эмилия бывала в доме Игнатьева на правах старой знакомой. Там, по ее словам, она молчала, слушала и ужасалась суждениям графа-комбрига о том, что происходит в стране. В частности, его суждениям о «деле» Тухачевского и других «красных командиров», расстрелянных в тридцать седьмом. Игнатьев решительно не одобрял этих арестов, ослаблявших, по его словам, Советскую Армию. «Но я писала об этом рапорт!» — оправдывается Литауэр перед следователем.

А Клепинин помогал Эмилии эти «рапорты» составлять! И отвозил их — «куда надо»!

Что же это такое? Как это возможно?

Упаси Бог бросать запоздалый камень благородного негодования в несчастных узников Лубянки! Совсем не в том дело. Но как все-таки такое оказалось возможным — еще на воле?..

Никакими особенными монстрами обитатели болшевского дома не были. В том-то и дело, в том-то и горе, в том-то и загадка — нравственная и психологическая, — что то были люди не просто бескорыстные, самоотверженные и искренне обеспокоенные всеобщим благом, но еще и глубоко религиозные и — в собственных глазах, как и в глазах окружающих — щепетильно честные.

Понять, что же с ними происходило, значило бы многое понять в нашей отечественной истории тридцатых годов.

Это совершенно невозможно вне исторического контекста.

Между тем именно так подходит к заблуждениям своих родителей мемуарист Дмитрий Сеземан. И потому его оценки предельно просты: «платные агенты» — вот весь его короткий приговор, даром что в числе категорически заклейменных собственная мать. Однако торопливая готовность к осуждению только закрывает путь к различению корней добра и зла, к уяснению причин и следствий. А без этого не поставить диагноза. И, значит, не излечишь болезнь, — в любой момент она вспыхнет с новой силой.

Эпидемия доносительства широко разлилась в стране Советов во второй половине тридцатых годов. И как часто она носила внешне пристойные формы: кто же сам назовет это доносом! Не донос, всего лишь «информация»!

Та же эпидемия, как известно, бушевала в соседней стране — Германии. Здесь и там созданы были условия, в которых вирус чувствовал себя в благоприятнейшей питательной среде. Понятно, кому это было выгодно, незачем об этом долго распространяться.

Загадочнее другая сторона вопроса: каковы те особенности личности, при которых вирус беспрепятственно проникает в человека, неузнаваемо искажая взращенные годами нравственные ценности? И почему у других даже не возникает искушения пойти той же дорогой? Чем защищены эти последние от общей заразы? Где, в чем иммунитет?

Двадцать лет назад, в один из вечеров 1919 года, в революционной Москве, склонившись над дневником, двадцатисемилетняя Марина с пером в руке неторопливо размышляла на тему, которая иному показалась бы не заслуживающей слишком серьезного внимания. Перебирая оттенки, записывая всякий едва мелькнувший вариант контекста, она снова и снова вслушивалась в смысл самых простых, самых обиходных слов: «хочу» и «могу», «не хочу» и «не могу».

Она будто чувствовала, что наткнулась на что-то совсем не пустячное, на нечто, соприкасающееся с самой природой человека, с самыми глубинами этой природы, а может быть, — вопрос термина! — с самыми высотами духовного его мира.

«Мое «не могу» — некий природный предел, не только мое, всякое… «Не могу» священнее «не хочу». «Не могу» — это все переборотые «не хочу», все исправленные попытки хотеть, — это последний итог. Мое «не могу» — это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет…

Корни «не могу» глубже, чем можно учесть. <…> Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о кротком не могу.

Утверждаю: «не могу», а не «не-хочу» создает героев!»

Итак, в глубинах крови и духа, считала молодая Цветаева, — настоящие истоки нашего выбора. Состав крови определен от рождения; одному человеку нечего и перебарывать, — голос природы ему всегда внятно слышен, — у другого этой подсказки нет.

Но пространство духа формирует сам человек. «Я не могу этого сделать, даже если весь мир вокруг делает так и это никому не кажется зазорным». Чтобы так чувствовать, нужна порода, которую исказить невозможно.

И еще. Случайно ли, что нравственная ржа так часто поражала людей из породы «борцов за социальную справедливость»? Не потому ли, что они принимали на веру утверждение о примате общественного интереса над личным?

Да, если бы мы не знали, как часто доносителями становились и те, кто пекся как раз о своем сугубо личном благе…

13

В самом начале ноября наступили школьные каникулы, и Нина Николаевна вместе с дочерью уехала в Москву. На Пятницкой, 12 жила ее мать.

Клепинин же — наоборот — появляется в эти дни в болшевском доме. Возможно, что, сострадая Цветаевой, супруги стараются не оставлять ее совсем одну. Запасного жилищного варианта у Марины Ивановны не было: в крошечных комнатках сестры мужа в Мерзляковском переулке жить казалось невозможным.

И вот, в ночь с 6 ноября на 7, в канун революционного праздника, арестовывают еще троих «болшевцев».

Клепинину подымают с постели на Пятницкой, ее сына Алексея увозят с Садово-Кудринской, из квартиры его жены.

И третий арест в ту же ночь — снова на болшевской даче.

Тут ордер предъявляют Николаю Андреевичу Клепинину.

Из воспоминаний Нины Павловны Гордон: «Марина глухим голосом рассказывала мне, как приехали его арестовывать, как было страшно на него смотреть, особенно страшно из-за его одиночества. Он был совсем-совсем один, и только собака (помнишь этого боксера с человечьими глазами?) все время ластилась к нему и все прыгала на колени. А он все прижимался к ней, к единственному живому существу, оставшемуся около него, видимо, только в ней одной чувствуя человеческое тепло и любовь…»[8]

Жена Алексея, оставив ребенка с подругой, мчится ранним утром на электричке в Болшево. Она не знает, что Нины Николаевны там нет — и тем более не знает о ее аресте.

Под дождем и снегом, под пронизывающим ветром она добирается до знакомого дома. На участке — пусто. И в ее сегодняшней памяти — странное смещение: ей помнится, будто она увидела голые — без хвои — деревья.

Дом казался вымершим.

Только странный лязгающий звук все повторялся, будто отстукивал, как метроном, последние минуты. Уже позже, возвращаясь, она поняла: это стучали друг о друга раскачиваемые ветром физкультурные кольца, подвешенные между сосен Сергеем Яковлевичем.

Ирина без толку стучала в дверь клепининской террасы. Но дверь отворилась с другой стороны дома — и на пороге появилась Цветаева.

Ветер растрепал ее полуседые волосы, на плечах едва держалось накинутое пальто.

— Ночью арестовали Алешу, — сказала Ирина. Марина Ивановна перекрестила ее несколько раз, на ней не было лица. Смотреть на нее было страшно.

— Уезжай, деточка, уезжай отсюда скорее, Бог с тобой. От нас рано утром увезли Николая Андреевича…

Она напомнила Ирине безумного пушкинского мельника.

Еще через два дня Цветаева с сыном бежали из Болшева в Москву.

В один из ближайших дней соседский мальчик, тот, с которым летом не захотели разговаривать Мур и Митя, — забрел на дачу, удивившись, что давно не слышит здесь никаких голосов. Дверь на террасу была полуоткрыта. Мальчик толкнул ее и вошел внутрь. В комнатах царил беспорядок, на полу валялись книги. Он поднял несколько. Книги были на французском языке. Он не утерпел и унес с собой томики Боккаччо и Вольтера.

ЛУБЯНКА

1

Ранним воскресным утром 27 августа 1939 года Ариадна Эфрон в последний раз спускается с крыльца болшевского дома. Больше никогда она не увидит ни отца, ни мать, ни брата.

«Уходит, не прощаясь! — читаем в дневниковой записи Марины Цветаевой. — Я — Что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается! Комендант (старик, с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы…»

[A](http://fanread.ru/book/9018949/?page=8)   [A+](http://fanread.ru/book/9018949/?page=8)   [A++](http://fanread.ru/book/9018949/?page=8)

[Читать](http://fanread.ru/book/9018949/#read)

[Читать](http://fanread.ru/book/9018949/#read)

[Скачать](http://fanread.ru/book/download/9018949/)

[Cкачать](http://fanread.ru/book/download/9018949/)

Много лет спустя об этом дне вспоминала и сама Ариадна Сергеевна: «…27 августа ‹…› я в последний раз видела своих близких; на заре того дня мы расстались навсегда; утро было такое ясное и солнечное — два приятных молодых человека в одинаковых «кустюмах» и с одинаково голубыми жандармскими глазами увозили меня в сугубо гражданского вида «эмке» из Болшева в Москву; все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что все моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группа людей, теснившаяся на крылечке дачи, неотвратимо отплывает назад — поворот машины и — все…»[9]

Через полтора месяца — 10 октября — так же, посреди ночи: шум подъезжающей машины, свет фар, прорезающих тьму. На этот раз увезут после обыска и составления протокола Сергея Яковлевича Эфрона. Маршрут прежний: в Москву, на Лубянку.

От дочери Цветаева еще успеет получить весной 1941 года несколько писем — из лагеря в Коми АССР (Севжелдорлага — на языке Страны Советов); от мужа — уже никогда, ни строчки.

И вот спустя более чем полвека, благодаря ходатайству Анастасии Ивановны Цветаевой, я имею возможность прочесть следственные дела Ариадны Сергеевны и Сергея Яковлевича Эфронов.

И стены страшного здания на Лубянке постепенно теряют свою непроницаемость. До прозрачности, разумеется, очень далеко; не только протоколы допросов, но и воспоминания уцелевших никогда не восстановят во всей достоверности того, что там происходило. И все-таки.

Вот постановление об аресте литературного работника журнала «Revue de Moscou» Ариадны Сергеевны Эфрон — и черная подпись на нем Лаврентия Берии. Черная в самом прямом смысле, ибо сделана жирным черным карандашом. Вот анкета арестованной, заполненная ее собственной рукой. И вот протокол первого допроса, состоявшегося в самый день ареста — 27 августа.

Первый протокол краток — всего несколько строк. Арестованной предложено рассказать о своей антисоветской деятельности и о сотрудничестве с иностранными разведками. Записан ответ: арестованная ничего подобного за собой не знает. Вопрос повторен в другом варианте — ответ тот же. Протокол оформлен в строгом соответствии с правилами: на нем обозначено время начала и конца допроса, фамилия следователя, на каждой странице — подпись допрашиваемой.

В 14 часов «диалог» начат, в 17 часов закончен. Три часа. Чем они были заполнены? Что осталось за пределами зафиксированных нескольких фраз на бланке протокола? Насколько отражает он реальность?

Мой собственный опыт мне теперь пригодился. Опыт конца пятидесятых годов, когда раз за разом в течение двух месяцев черная «Волга» с несколькими нулями на номерном знаке увозила меня с работы в ленинградский «Большой дом» на допросы. Этот опыт при всей несравнимости все же помогал мне нынче читать «протокольную» партитуру. Я хорошо помнила, как далеки от идентичности реальные диалоги, звучавшие в комнате следователя, и те, которые фиксировались на бумаге; как часто протокол составлялся уже по окончании «собеседования», вбирая едва десятую часть сказанного — и то в формулировках следователя. (Их, вообще говоря, можно исправить, но не всякий это знает и не всякий, даже зная, воспользуется.) В протокол не попадают оскорбительные, а то и издевательские интонации следователя, провокационное его вранье, угрозы, помойные сплетни, выливаемые по адресу твоих друзей и знакомых. И еще — часы и часы, когда допрашиваемого оставляют «подумать хорошенько», не раз и не два уходя пообедать, перекурить, просто заняться другими делами. И вождение по кабинетам разных начальников, если упрямишься, и присоединение к допросу каких-то новых лиц… Ничего этого в правильно оформленных протоколах не будет. И все это в наши, как выражалась Анна Ахматова, «вегетарианские времена».

Что именно оставалось за кадром, то бишь за протоколом, в конце тридцатых — довообразить труднее, но можно. Рассказы уцелевших и вернувшихся, мемуары бывших репрессированных достаточно подробно воссоздают обстановку, и уже нет, кажется, человека, который считал бы, что там беседуют за чашкой кофе. И все-таки слишком часто эти протокольные листы, то отпечатанные на машинке, то заполненные следователем от руки, казались мне иероглифами, смысл которых могли бы расшифровать только участники «диалога».

Где правда? Насколько это правда? Вся ли правда? Что это — чистосердечная исповедь или продуманная версия? А если вот здесь выдумка, то почему так гладко, почти виртуозно? И почему вчера — «нет», а послезавтра — «да»? А вот на этой очной ставке — какими они увидели друг друга? Насколько правомерно — за каждой возведенной на себя или на других напраслиной видеть «методы физического воздействия»? А еще, может быть, это вовсе и не напраслина?…

Между первым допросом Ариадны Эфрон и вторым проходят две недели. Первый допрос проводил старший следователь лейтенант госбезопасности Николай Михайлович Кузьминов, — спустя полтора месяца именно он займется «делом» Сергея Яковлевича Эфрона. Второй допрос и несколько последующих проведет другой следователь — младший лейтенант Алексей Иванович Иванов.

Теперь Ариадну спрашивают о конкретностях: о круге ее знакомых в Париже, о тех, с кем она встречалась по возвращении на родину. Сотрудничала ли она в эмигрантских белогвардейских организациях? С какой целью приехала в СССР? Подтекст последнего вопроса открыто разъяснен: «нам известно, что вы приехали по заданию иностранных разведок, на службе которых вы состояли…»

— Ни с какой иностранной разведкой я не была связана и приехала только по собственному желанию, — записан ответ в протоколе.

Второй допрос — ночной, он длится уже восемь часов подряд: начавшись в девять вечера, он завершится в пять утра. Третий начинается на следующий же день, после бессонной ночи, и опять затягивается далеко за полночь. Четвертый — днем следующего же дня. Это — 7, 8, 9-го сентября. День перерыва, и далее снова: 11-го, 13-го, 14-го.

Пятнадцать лет спустя, в мае 1954 года А. С. Эфрон посылает из Туруханска, где она отбывает ссылку так называемых «повторников», заявление на имя Генерального Прокурора СССР Руденко с просьбой о пересмотре дела и об отмене приговора. В заявлении она, в частности, напишет: «Меня избивали резиновыми «дамскими вопросниками»[10], в течение 20 суток лишали сна, вели круглосуточные «конвейерные» допросы, держали в холодном карцере, раздетую, стоя навытяжку, проводили инсценировки расстрела…» И далее: «Я была вынуждена оговорить себя…» И еще: «Из меня выколотили показания против моего отца…»

Это произойдет ровно через месяц после ареста, 27 сентября того же 1939 года. В этот день Ариадна соглашается подписать «признание».

Иные, гораздо более закаленные, сдавались и быстрее. Из материалов специальных комиссий, созданных у нас в конце восьмидесятых годов для изучения подлинной истории «показательных» политических процессов конца тридцатых годов, известно, например, что маршал Тухачевский «признался» в своих связях с иностранными разведками уже через неделю допросов и пыток; через 33 дня после ареста начал подписывать абсурдные «признания» Г. Л. Пятаков; два месяца и 18 дней понадобились, чтобы сломить Карла Радека…

Под протоколом допроса от 27 сентября стоят подписи двух следователей, которые этот допрос провели, — Кузьминова и Иванова. Но еще в одном заявлении, посланном из того же Туруханска 9 марта 1954 года, на этот раз на имя министра внутренних дел СССР Круглова, — А. С. Эфрон указывала, что на ее допросах присутствовал — и, видимо, не однажды — один из заместителей Берии. Она узнала его, потому что видела раньше, «на воле», сопровождая больного отца на свидание с этим человеком в одну из московских гостиниц. Его фамилия была то ли грузинской, то ли армянской. На следствии, по словам Ариадны, он постоянно требовал от нее показаний против отца. Однако в протоколах допросов никак не отражено присутствие этого человека. Так же, впрочем, как и участие в них сына Я. М. Свердлова, ставшего следователем НКВД. Между тем об этом участии Ариадна рассказывала и своей подруге А. А. Шкодиной-Федерольф, с которой вместе отбывала ссылку в Туруханске, и Марии Белкиной, автору книги «Скрещение судеб».

Это обстоятельство должно в очередной раз предостеречь нас от иллюзий идентичности протокольных документов реальной обстановке допросов тех уже давних лет…

Итак, через месяц после ареста Ариадна Эфрон «признается»: она была завербована французской разведкой и заслана в Советский Союз со шпионским заданием.

В основу самооговора положены факты, которые уже фигурировали в ее прежних допросах: их сообщила сама Ариадна. Но теперь она истолковывает их так, как этого хочет следствие.

Она рассказывает о своем знакомстве в Париже в конце 1936 года с неким Полем Мерлем, редактором журнала «Франция — СССР». Мерль предложил молодой журналистке (Ариадна работала тогда в редакции журнала «Наш Союз», выходившем под эгидой парижского «Союза возвращения на родину») написать очерк о жизни в Советском Союзе, по материалам советской печати. Очерк был написан — и привел Мерля в восторг качеством выполненной работы. Последовали новые заказы того же характера. Ариадна писала статьи; они всякий раз принимались с тем же горячим одобрением и щедро оплачивались. Затем, незадолго до отъезда Ариадны в Советский Союз, Мерль пригласил ее к себе домой на прощальный ужин.

Он был очень радушен в этот вечер. Разговор касался самых разных тем.

Знакома ли Ариадна с советским послом Сурицем?

А с Виктором Сержем?

Что она думает по поводу странных признаний подсудимых на московском процессе, проходившем в начале тридцать седьмого года?

«Так мне стало известно, что Мерль связан с троцкистами», — записано в показаниях Ариадны от 27 сентября.

И здесь и в более поздних записях ее ответов возникает временами странное впечатление чуть ли не насмешки подследственной над допрашивающим, — когда на абсурдные вопросы она отвечает откровенным вздором.

Ариадна разыгрывает теперь готовность помогать в «изобличении» других — тех, о ком ее спрашивают. Правда, следователя злят ее слишком общие характеристики, ему нужны конкретные факты «шпионской деятельности». Но понимала ли Аля, что и «общих» характеристик было достаточно, чтобы переломить хребет судьбы тех, о ком ее спрашивали? Возможно, что до конца не понимала, — как не понимала того, что реально грозило ей самой. По свидетельству ее сокамерницы Дины Канель, приведенному в книге «Скрещение судеб», обе они, несмотря на весь кошмар происходящего, долго сохраняли легкомысленную надежду на то, что наказание будет достаточно условным: «Так ясна была абсурдность того, что им инкриминировалось, и так они не чувствовали за собой никакой вины, что были уверены: ну, максимум, что им могут дать, это ссылку года на три!»[11]

(Психология подследственного человека изучена в Учреждении очень хорошо — надо отдать должное. Мне приходилось спрашивать своих «подельников» — спустя много лет по поводу некоторых их признаний на допросах. Каким принуждением они были вызваны? Речь шла о признаниях, явно опасных для тех, кто еще оставался на свободе. Ответы меня поразили. «Да ведь мне было ясно, что они и так все знают… Чего же туман напускать? Кроме того, не таких уж серьезных вещей это касалось, и я думал: ничего не случится, если я подтвержу…»

«Несерьезные вещи» не так уж редко оборачивались сломанными судьбами. Это в наши годы. А в те — физическими страданиями, а то и гибелью…)

Еще долго собственный арест представлялся Ариадне нелепой ошибкой, результатом «вредительства», угнездившегося в органах НКВД. Даже в камере, даже в лагере, она еще верила, что главные основы справедливейшего строя не затронуты. Уже из «зоны» она будет писать Самуилу Гуревичу о том, что с ней произошло, как о «глупой случайности». «Я не настолько глупа и мелка, чтобы смешивать общее с частным. То, что произошло со мной, — частность, а великое великим и останется…»[12]

Иронизировать тут неуместно, но не поучителен ли по-своему этот пример «несгибаемости духа», которым мы традиционно привыкли восхищаться? Стойкость, замешанная на слепоте веры… Сплав этих качеств нередко губителен даже для людей, которым трудно отказать и в уме, и в самоотверженном благородстве…

Но вернемся к «признанию», сделанному 27 сентября 1939 года.

На прощальном ужине Поль Мерль предложил Ариадне не прерывать сотрудничество с его журналом и продолжить его из Москвы. А для ускорения пересылки материалов он дал адреса двух французских журналистов, которые в то время находились в Москве.

И об этом Ариадна уже сообщала раньше следствию, но теперь она делает важные добавления. Во-первых, Мерль, оказывается, просил ее писать об антисоветских настроениях среди московской интеллигенции! Во-вторых, адреса журналистов уже названы «явками». Ариадна утверждает, что еще тогда ей стало ясно: предлагалось не что иное, как прямое сотрудничество с французской разведкой. Однако она настаивает: ни одного материала она из Москвы Мерлю так и не отправила, ни прямо, ни через его «агентов». И все же в ее приговоре позже будет фигурировать как доказанное: «являлась агентом французской разведки».

Сюжет с Мерлем имеет под собой совершенно реальную основу. И журнал такой существовал, и Поль Мерль вместе с ним. Да и характер материалов в журнале был таков, что естественно возникает предположение о Мерле, как о совсем «нашем» человеке. Вполне возможно, что и темы прощального разговора названы здесь верно. И лишь отражено все в нарочито искривленном зеркале.

Следствию брошена кость: хотите так — пожалуйста.

Но от подследственной не отстают и после ее «признания». Теперь от нее требуют изобличения отца — как требовали и раньше.

И вот в протоколе появляется давно жданная ее мучителями фраза: «Не желая ничего скрывать от следствия, я должна сообщить, что мой отец является агентом французской разведки…»

2

Пять дней спустя следователь Кузьминов составит постановление об избрании меры пресечения (то есть об аресте) С. Я. Эфрона. И тем же жирным черным карандашом, какой мы видели на аналогичном постановлении, касавшемся дочери, поставлена подпись Берии. Ариадна Сергеевна утверждала позже, что ее собственный арест нужен был прежде всего для «выколачивания» сведений, которые скомпрометировали бы ее отца. Возможно. Но то был отнюдь не единственный «оговор» Эфрона. Еще 7 августа того же 1939 года показания о его «антисоветской и шпионской» деятельности дал Павел Николаевич Толстой. Скорее всего, в распоряжении НКВД и это были не первые «уличающие» показания. Еще раньше Эфрона мог назвать Святополк-Мирский, арестованный в 1937 году, — видный деятель евразийского движения и личный друг Цветаевой и Эфрона; могли назвать его и другие вернувшиеся из Франции и попавшие в застенок НКВД эмигранты. Проследить всю «историю вопроса» по архивам КГБ пока нет возможности.

Бессмысленно искать твердой логики в вакханалии репрессий тех лет. Загадочно другое: упорство, с которым следствие выбивает из тех, кто уже попал в его сети, «обоснования» для своих загодя составленных обвинительных заключений.

Зачем нужно было столь педантично блюсти внешнюю форму судопроизводства, добиваясь подписей арестованных под их «признаниями» в протоколах допросов? Из каких истоков проистекала эта озабоченность соблюдением «правил», вроде того, например, которое требует подписи участников очной ставки около каждой их реплики, зафиксированной в протоколе? Для кого разыгрывался этот спектакль — без зрителей, без свидетелей! — и с такой жестокостью по отношению к жертвам?

Вернемся снова к злополучному допросу 27 сентября.

Ариадне приходится аргументировать сказанное о связи отца с французской разведкой. И она ссылается на их задушевные беседы в тридцатые годы. Наиболее «художественно» изложен разговор, который можно было бы отнести по его содержанию (ибо речь идет в нем, в частности, о предстоящем отъезде Ариадны в СССР) к середине тридцатых годов.

«Отец в тот день был болен, — повествует Ариадна, — мы были в доме одни. Он подозвал меня и попросил присесть к нему на кровать. Он сказал, что непоправимо погубил жизнь мне и маме. Я подумала, что он говорит о тяжелой материальной стороне нашей жизни, и стала его утешать. Но он остановил меня. Он сказал (далее я цитирую по протоколу дословно — И. К.): «Ты еще молода, ничего не знаешь и не можешь понять меня. Ты ведь не знаешь и не можешь знать, как мне тяжело. Я запутался, как муха в паутине… Ты можешь уехать в СССР и прекрасно устроить свою жизнь. Мое же положение безвыходно тем, что я лично вернуться в СССР никогда не смогу». «Зная о том, что отец связан с советской разведкой, — продолжает Ариадна, — я спросила, неужели он своей работой на СССР не искупил своего прошлого?» — «Не только на СССР», — якобы ответил дочери Эфрон.

«Мне было ясно, что речь шла о французской разведке», — добавляет Ариадна. С той же, заметим, логикой, — вернее, алогичностью, как и в изложении сюжета с Полем Мерлем.

Если все это выдумка от начала до конца, то сочинена она почти вдохновенно. Впрочем, литературный талант Али Эфрон известен, как известна с ранних лет и ее одаренность в фантазиях, отмеченная еще в письмах молодой Цветаевой.

Протокол одного этого допроса занимает в следственном деле А. С. Эфрон двадцать шесть страниц!

Зато теперь ее почти на месяц оставят в покое.

Если верить памяти той же Дины Канель, то поначалу Ариадна не осознала важности случившегося; она пришла в тот раз с допроса даже довольная и сказала, что наконец «созналась». Правда, между подругами, в изложении Белкиной, идет разговор только о «вине» самой Ариадны. Но почему же все-таки «довольная»?

Видимо, версия, предложенная следствию, созрела не на допросе, а в мучительные часы ледяного карцера или в передышках между «конвейерными» допросами. И теперь она надеялась, что самое тяжкое уже позади…

Облегчение, однако, длилось недолго, и вскоре Ариадна стала требовать свидания с прокурором, дабы отказаться от сказанного об отце. Но встреча с прокурором Антоновым зафиксирована только в марте.

К этому времени С. Я. Эфрон уже пять месяцев находился в заключении.

3

Любопытно, что ордер на арест Сергея Яковлевича составлен следователем 2 октября, а «утверждающая» подпись Берии появилась только 9-го. Не означает ли это, что «заслуги» Эфрона требовали согласовании на еще более высоком уровне?…

Так или иначе, Эфрону оказалась подарена лишняя неделя свободы. Он смог в последний раз провести с женой и сыном свой день рождения и день рождения Марины Ивановны. Цветаевой исполнилось сорок семь лет…

Доставленный на Лубянку Эфрон заполняет анкету. Фамилию он называет двойную: «Андреев-Эфрон». В графе «профессия» записывает: «литератор», в графе «последнее место службы»: «был на учете НКВД». Жена: «Марина Ивановна Цветаева. Литератор и поэт». Далее — сведения о детях и сестрах. Паспорт выдан в Москве 16 октября 1937 года.

Первый допрос начнется в тот же день — 10 октября 1939 года в 11 часов утра. Он продолжается три с половиной часа — немногим дольше, чем первый допрос Ариадны.

Тем очевиднее разница. Если там протокол зафиксировал всего несколько строк «диалога», то показания Эфрона — обширны и информативны.

Отвечая на вопросы, Сергей Яковлевич сообщает о себе подробные биографические сведения. Упоминает о службе санитаром в годы первой мировой войны, недолгой актерской деятельности в Камерном театре. Отношение к Февральской революции? «Как у большинства офицеров», — не слишком внятно отвечает Эфрон (ибо отвечать по существу пришлось бы длинно, он вовсе не был в восторге тогда от происходившего). Далее — об отношении к большевикам, об участии в Белой армии, об эвакуации в Турцию вместе с уцелевшими частями белых. О Галлиполийском лагере. Это название следователь явно слышит первый раз в жизни, потому что записывает «Гампорижский», на слух, и Эфрон, подписывая эту страницу, педантично исправит ошибку.

— Чем вы там занимались? — допытывается следователь.

— Я там голодал и жил зиму в неотапливаемой палатке, — отвечает Эфрон.

— Что же вас так плохо встретили ваши хозяева, в угоду которым вы вели борьбу с оружием в руках? — иронизирует следователь.

(Тональность и направленность следовательских вопросов подчинена задаче «уличить преступника», выжать из любого сообщаемого им факта криминал — это естественно. Но сквозь «Гампорижский лагерь» просвечивает не просто дремучее невежество. Протоколы следственных дел — и только ли тридцатых годов? — уникальный материал для психиатра, — настолько очевидна свихнутость мозгов советского следователя. Они как бы соединены по особой схеме; вместо логики работают внедренные в сознание клише советского катехизиса: «не черное — значит, белое», «не наше — значит, от акул империализма», «против нас — значит, в угоду и за мзду»… Таков следователь НКВД, без колебаний запечатлевающий в протоколах алогизмы собственных больных умозаключений. В конце пятидесятых и шестидесятых годов арестованных уже не били (по крайней мере, в Москве и Ленинграде), но тип следователя оставался тем же. И пусть верит, кто может, будто с 21 августа 1991 года в стенах того же Учреждения все разом изменилось. В механизм робота можно, наверное, вставить другую программу, но в искалеченную органику человека — вряд ли…)

Итак, следователь энергично подталкивает Эфрона к нужным формулировкам. «Значит, Октябрьскую революцию вы встретили враждебно?… Ваша связь с белым движением отражала общность ваших взглядов в борьбе против большевиков?»

Подследственный не уклоняется: «Совершенно верно». «Именно так».

И тут проступает черта, характерная и для всех остальных показаний Эфрона. Он не пытается сгладить крутые повороты своей биографии, уклониться от рассказа об эпизодах, невыгодных в его теперешнем положении. В этих последних случаях он, правда, немногословен и остается в рамках того, что следствие уже знает от других арестованных. Но временами он все же оспаривает трактовку этих эпизодов, когда они слишком безудержно выходят в пространство целенаправленных фантазий.

Протоколы всех восемнадцати допросов Эфрона воссоздают отчетливую картину его твердости, соединенной с готовностью отвечать за реальные прегрешения перед советским правосудием.

Он подробно рассказывает о своих эмигрантских годах.

О том, что в Праге он был организатором Демократического союза русских студентов; возглавляемая им тогда группа придерживалась ориентации антисоветской — и одновременно антибелогвардейской. Она не имела, говорит Эфрон, своей политической программы. Но пыталась выработать собственные позиции, отличные от тех, на которых держалось Белое движение: в нем Эфрон и его единомышленники — бывшие белогвардейцы — к тому времени были уже глубоко разочарованы. Чтобы выработать новые позиции, они считали необходимым пристальнее вглядываться в реальные процессы, происходившие в современной России, не терять с ней связь.

Если бы неблагодарный слушатель, перед которым Сергей Яковлевич так подробно рассказывал теперь свою жизнь, мог взять в руки студенческий журнал «Своими путями», — он увидел бы, что арестованный правдив до мелочей. Все годы эмиграции прошли для Сергея Яковлевича, в сущности, в упорных попытках найти «третью опору» в непримиримой вражде белых и красных. Ни те, ни другие не вызывают его полного доверия, но у тех и у других он ищет и находит осколки «своей» правды.

Впрочем, до поры до времени. Время делало свое дело. То, что оказалось перед глазами, вблизи, слишком часто отталкивало: эмигрантские свары, неразбавленная злоба по отношению ко всему, что осталось в России, безудержное восхваление Белого движения…

Куда легче идеализировать то, что вдали, — и к концу двадцатых годов поиски «третьей позиции» заканчиваются у Эфрона выбором в пользу «советской правды».

Переходя к парижскому периоду своей биографии, Эфрон дает подробные показания о евразийском движении, захватившем в середине двадцатых годов широкие слои русской эмиграции. Он излагает программные установки евразийцев, подробно характеризует разностороннюю практическую деятельность организации, ее финансовые источники. Называет имена руководителей парижской группы, к которой он тогда принадлежал. Почти все они остались во Франции: С. Н. Трубецкой, П. П. Сувчинский, П. Н. Малевский-Малевич, Н. Н. Алексеев. Двое евразийцев — П. С. Арапов и Д. П. Святополк-Мирский — вернулись в СССР в начале тридцатых годов и были уже арестованы.

Игнорируя тон следовательских вопросов, «уличающие», «подлавливающие» их формулировки, Сергей Яковлевич упорно пытается идти по пути достоверных фактов и обстоятельств. Временами даже кажется, что он движим чуть ли не простодушной надеждой пробить глухоту своего «собеседника», разъяснить его, а не свои собственные «заблуждения», и вовсе не замечает полнейшей незаинтересованности в истине допрашивающей стороны.

Между тем его постоянно перебивают вопросами, бесцеремонно напоминающими, где именно происходит это выяснение исторических обстоятельств.

— Какую практическую антисоветскую деятельность вели евразийцы?

— С какими иностранными разведками они были связаны?

— Какие шпионские задания они — и вы лично — выполняли?

Эфрон готов назвать позицию евразийцев антисоветской, — хотя бы на том основании, что один из евразийских лозунгов второй половины двадцатых годов формулировался как «советы без коммунистов». Но он решительно отвергает завербованность иностранными разведками. И кроме того, настойчиво подчеркивает: уже в 1928–1929 годах и он сам, и многие евразийцы, пересмотрев прежние взгляды, прочно «встали на советскую платформу».

— Расскажите о вашей антисоветской деятельности после 1929 года, — упорствует следователь.

— Мне нечего рассказывать, — читаем в ответе Эфрона. — После 1929 года ее не было.

— Следствие вам не верит…

Не забыт в этом допросе и еще один важнейший аспект разработанного априори обвинения. Без него не обходится в эти годы ни один политический процесс: связь с троцкистами.

Вожделенную зацепку еще 7 августа этого года дал П. Н. Толстой. Он сообщил следствию факт, о котором он, Толстой, как он говорит, слышал в начале тридцатых годов во Франции от самого Эфрона. Этот факт — встреча евразийцев с Г. Л. Пятаковым, в бытность того в Париже на посту советского торгпреда. В интерпретации Толстого встреча названа «совмещенным совещанием», в результате которого евразийцы стали заграничным филиалом троцкистского центра, сформированного в Советском Союзе.

К этому времени, напомним, Пятаков уже давно расстрелян. Он был обвинен на январском процессе 1937 года — совместно с Сокольниковым, Радеком и другими — в создании так называемого «параллельного антисоветского троцкистского центра», якобы ставившего своей задачей свержение советской власти и восстановление капитализма.

Эфрон не мог не понять всей опасности всплывшего эпизода.

И в этом месте его показаний, как они зафиксированы в протоколе, — лаконичность, не характерная для других ответов. Он признает, что такая встреча имела место. Но участвовал в ней только Петр Петрович Сувчинский, и подробностей состоявшегося разговора он, Эфрон, не знает.

Забегая вперед, скажу, что удержаться на этом лаконизме ему не дадут. Ибо о злополучной встрече с пристрастием допрашивают не только Эфрона и Толстого, но и Клепининых-Львовых, и Эмилию Литауэр. Добытые подробности постепенно заставляют Сергея Яковлевича заговорить менее односложно.

Тогда он сообщит, что инициатива встречи исходила от самого Пятакова. К евразийцам будто бы пришел от его имени в январе 1929 года Борис Неандер, редактор газеты «Русский вестник», выходившей в Париже; он сказал об интересе Пятакова к программным установкам евразийцев. Состоявшаяся встреча носила характер полуофициальный — не как с лидером оппозиции, а как с советским торгпредом. Такова интерпретация Эфрона.

Как раз в это время возникли трудности с субсидированием газеты «Евразия». По словам Эфрона, Сувчинский предложил использовать страницы газеты для пропаганды успехов советского общества, — не в обмен на финансирование, а в связи с искренним желанием «левых» евразийцев быть полезными строительству социализма в России.

Однако, утверждал Эфрон, встреча не имела последствий, прочного контакта так и не установилось[13].

4

Трагические парадоксы жизни… Обвинение в сотрудничестве с троцкистами предъявляют Эфрону, а затем предъявят и его сподвижникам — Клепининым, Афанасову и Литауэр, — им, столь энергично вовлеченным в середине тридцатых годов в борьбу с троцкизмом за рубежом — по заданию энкаведистов из парижского посольства. Им, предпринявшим в 1936 году специальную тайную поездку в Норвегию для того, чтобы удостовериться в реальном местопребывании там Троцкого; им, изобретательно организовавшим слежку за сыном Троцкого Львом Седовым; участвовавшим в целой серии антитроцкистских акций, о подробностях которых нам еще предстоит, возможно, узнать… Что чувствовали они теперь, попав под обвинение в сотрудничестве с теми, кого сами считали закоренелыми врагами отечества?

Вспоминали ли, как еще два с лишним года назад, собираясь вместе, передавали друг другу ошеломляющие новости о том или ином превосходном человеке, который вдруг оказывался тайным сподвижником лидера оппозиции, изгнанного из советской страны? Догадались ли хоть теперь, чего стоили и о чем свидетельствовали «признания» подсудимых на московских процессах?

Но мы ничего не поймем о тех, чью личную судьбу сейчас пытаемся проследить, пока не увидим их в ряду событий безумной эпохи.

Нет ничего проще в наши дни, когда все уже разжевано и положено в рот усилиями воцарившейся гласности, чем презрительно толковать о тех, кого ностальгические комплексы лишали трезвого взгляда на вещи. Грехом такого презрения грешит Дмитрий Сеземан в мемуарах «Париж — ГУЛАГ — Париж». Но куда подверстать простодушие множества европейских журналистов, упорно повторявших, к примеру, в 1937 году неправдоподобный бред о «троцкистских фашистах», якобы угнездившихся в Испании, в каталонской партии ПОУМ? Миф был сочинен в тех же кабинетах, где готовились и известные «процессы», но подхватили его уже не ностальгирующие русские эмигранты, а газеты Валенсии и Парижа, Лондона и Нью-Йорка…

И это отнюдь не единственный пример загадочного помрачения умов «прогрессивной» интеллигенции мира во второй половине тридцатых годов.

Все, что Эфрон рассказывал на допросах о евразийском движении, — следователем пропущено мимо ушей. Но несколько реальных подробностей, в неузнаваемо препарированном виде, вставлено в фантастическую версию обвинения.

Между тем, характеризуя евразийство второй половины двадцатых годов, Эфрон рассказал достаточно неожиданные вещи.

Он не вдавался в дальнюю историю вопроса, уводящую к первым книгам и сборникам (1921–1922 годы), авторами которых были русские ученые-эмигранты, предложившие новую концепцию исторического развития России. У истоков движения речь шла об особенностях географического положения русского государства, вобравшего в себя черты Европы и Азии и обладающего своей спецификой, ярко выраженной и в культуре, и в экономике, и в религии. Антизападнический пафос концепции, сочетавшийся с критикой предреволюционных умонастроений русской интеллигенции, обеспечил ей популярность в среде людей, вынужденных покинуть свою родину.

Эфрон присоединился к евразийцам не сразу. Сближение относится к двадцать шестому году, когда, переехав из Чехословакии в Париж, Сергей Яковлевич познакомился здесь со Святополком-Мирским и Сувчинским. Это «самые интересные парижане», — аттестует он их в письме к пражскому своему другу Евгению Недзельскому. И здесь же замечает: «Самое интересное, творческое и живое в эмиграции объединено в евразийстве»[14]. Ему импонирует евразийский «подход к национальному самосознанию через культуру», — политическая же программа кажется поначалу «мелкотравчатой». Но уже осенью 1926 года из просто сочувствующего он становится (по его собственному признанию в письмах тому же адресату) «единомышленником» евразийцев, а в декабре принимает деятельное участие в создании евразийского семинара в Париже. В мае следующего года он сообщает Недзельскому, что евразийская работа стала его основным жизненным занятием.

[A](http://fanread.ru/book/9018949/?page=10)   [A+](http://fanread.ru/book/9018949/?page=10)   [A++](http://fanread.ru/book/9018949/?page=10)

[Читать](http://fanread.ru/book/9018949/#read)

[Читать](http://fanread.ru/book/9018949/#read)

[Скачать](http://fanread.ru/book/download/9018949/)

[Cкачать](http://fanread.ru/book/download/9018949/)

К этому времени в евразийском движении сугубых теоретиков уже сильно потеснили люди иного типа. Они жаждали действенного включения евразийских идей в современную политическую реальность. Евразийство «отравилось вожделением быстрой и внешней удачи», — писал в одной из своих статей 1928 года Флоровский. В ряду наиболее радикально настроенных евразийцев — Сувчинского, Святополка-Мирского, Малевского-Малевича, Арапова, Родзевича, Сеземана — и оказался Эфрон.

Прирожденная энергия организатора помогла ему наладить работу Евразийского клуба в Париже. Там регулярно читались лекции и проводились дискуссии, собиравшие в эти годы огромные аудитории. Осенью 1928 года вышел в свет первый номер газеты «Евразия».

Всего вышесказанного Эфрон, впрочем, на допросах не касается.

Излагая программные установки евразийцев относительно будущего России, он называет лишь два тезиса: установку на государственный капитализм и план замены коммунистов на руководящих постах людьми евразийской направленности. Для следствия этого вполне достаточно, чтобы сформулировать задачу организации как свержение советского строя[15].\*\*

На этом же допросе в первый и последний раз Эфрона спрашивают о Марине Цветаевой.

— Какую антисоветскую работу проводила ваша жена?

— Никакой антисоветской работы моя жена не вела, — записан ответ Эфрона. — Она всю свою жизнь писала стихи и прозу. Хотя в некоторых своих произведениях высказывала взгляды несоветские…

Несогласие следователя со сказанным отражено в протоколе с деликатностью, под которую воображение легко подкладывает в лучшем случае нецензурный окрик:

— Не совсем это так, как вы изображаете. Известно, что ваша жена проживала с вами совместно в Праге и принимала активное участие в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?

Сведения о том, где жила и где печаталась Цветаева, сообщены следователю Ариадной. Материалы ее допроса цитируются (а может быть, частями и предъявляются) в этот день Эфрону. Копия протокола от 27 сентября подшита в папку дела отца.

— Да, это факт, — подтверждает Сергей Яковлевич. — Она была эмигранткой и писала в эти газеты, но антисоветской деятельностью не занималась.

— Непонятно, — записывает далее собственную реплику следователь. — С неопровержимостью доказано, что белоэмигрантские организации на страницах издаваемых ими изданий излагали тактические установки борьбы против СССР…

(Диалог о Цветаевой я только цитирую, ничего не опуская и не пересказывая. Поясняю это потому, что скачки следовательской логики могут вызвать подозрения в пропусках. Но в протоколе все именно так!)

— Я не отрицаю того факта, — читаем ответ Эфрона, — что моя жена печаталась на страницах белоэмигрантской прессы, однако она никакой антисоветской политической работы не вела.

Следом за протоколом первого допроса в следственном деле Эфрона идет медицинская справка. Из нее становится ясно, что в награду за все попытки терпеливо разъяснить следствию историю своих прегрешений арестованный был сразу же отправлен в Лефортово.

Марии Белкиной удалось разыскать сокамерниц Ариадны Эфрон и поговорить с ними. Увы, обстоятельства пребывания Сергея Яковлевича в тюремных застенках остаются совершенно неизвестными. Зато известна репутация страшной Лефортовской тюрьмы.

Медицинская справка подписана начальником санчасти Лефортова военврачом 3-го ранга Яншиным. Он констатирует, что Эфрон страдает частыми приступами грудной жабы, на современном языке — стенокардией («сердце расширено во все стороны, глухие тоны»), а также неврастенией в резкой форме. В связи с этим для следственных органов даются практические рекомендации: проводить «занятия» (так!) в дневное время, не больше двух-трех часов в сутки, в помещении с хорошей вентиляцией и при повседневном врачебном наблюдении.

Справка датирована 19 октября, но запрос сделан следственной частью еще раньше — 15-го. Что означает, по-видимому, резкое ухудшение состояния подследственного вскоре (или сразу!) после первого допроса.

26 октября следователь Кузьминов знакомит Эфрона с «Постановлением о предъявленном обвинении». В нем сказано, что арестованный «достаточно изобличается в том, что являлся одним из руководителей белогвардейской «евразийской» организации ‹…›, которая вела активную подрывную деятельность против СССР. Одновременно являлся агентом одной из иностранных разведок, по заданию которой направлен в СССР для ведения шпионской подрывной работы. Являлся секретным сотрудником НКВД и скрывал от органов свою шпионскую связь с иностранными разведками…»

Эфрон категорически отрицает обвинение в «изменнической деятельности». Разговор со следователем на этот раз занял всего двадцать минут.

5

Следующий допрос тот же Кузьминов проведет 1 ноября.

Биографические сведения больше не нужны. Главные темы теперь: евразийцы и иностранная разведка, евразийцы и их связь с троцкистами. Отметим здесь одно важное место в показаниях Эфрона. Еще на первом допросе он называл имя Петра Семеновича Арапова как руководителя секретной работы евразийцев. И вот теперь, 1 ноября, уступая настояниям следователя, Эфрон признает: Арапов был действительно связан с польской, немецкой, а может быть, и с английской разведкой.

Но он делал это по поручению ГПУ! Такое пояснение, говорит Эфрон, он слышал из собственных уст Петра Семеновича.

Свидетельство это безусловно могло бы вызвать недоверие, встреться оно в показаниях других. Но Эфрон, судя по всему, не сочиняет версий. И потому запомним его слова — они скорее всего соответствуют действительности.

К концу этого допроса появится еще одна тема, по всей видимости, крайне тяжелая для Сергея Яковлевича. Она касается соседей Эфрона по болшевской даче, его давних друзей — Клепининых-Львовых. Следствие готовится к их аресту, но пока они еще на свободе.

Легко домыслить, что, вынуждая Эфрона к «уличающим» Клепининых показаниям, его опять провоцируют сведениями, которые незадолго до того предоставила на очередном допросе его собственная дочь. Она наговорила множество конкретностей — из области, которая ей самой, возможно, казалась не слишком криминальной: «антисоветские разговоры».

Вряд ли теперь на Ариадну ссылаются. Но когда узнаваемые конкретности, известные до тех пор только узкому личному кругу, предъявляются на допросе, психологическое их воздействие подобно шоку.

У Эфрона могло создаться ощущение, что на болшевской даче арестованы уже все — или будут вот-вот арестованы.

Вторая справка «медосвидетельствования» в деле Эфрона датирована 20-м ноября; она препровождена в Следственную часть старшим лейтенантом госбезопасности Бизюковым.

Ее содержание страшно.

В справке указывается, что уже с 24 октября (две недели спустя после ареста!) Эфрон наблюдался психиатром. А 7 ноября он был помещен в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы. (Это означает, в частности, что допрос, состоявшийся 1 ноября, проходил в период ремиссии, сменившейся затем новым резким ухудшением состояния пациента.)

Справка свидетельствует о том, что Эфрон сделал попытку покончить с собой. Скорее всего, именно это и заставляет поместить его в больницу, — дабы держать под усиленным наблюдением.

Можно предположить, что попытка самоубийства предпринята Сергеем Яковлевичем вскоре после допроса 1 ноября: именно тогда он мог особенно остро ощутить ловушку, в которую попал сам и втянул других.

Его принуждали теперь к показаниям против людей, за судьбу которых он ощущал свою ответственность!

Не могли не придавить невыносимой тяжестью и сведения о разговорах на болшевской даче, данные явно изнутри. Он-то хорошо понимал, что эти сведения представляли угрозу для всех обитателей дома, включая жену и сына. А если Эфрону сказали прямо, что показания эти дала его любимая дочь, им самим втянутая в страшный переплет…

Легко представить себе его реакцию.

Приведу все же полнее текст справки, гласящий, что Эфрон «с 7 ноября находится в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство. В настоящее время обнаруживает слуховые галлюцинации, ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и жене и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного. По своему состоянию (острое душевное расстройство) нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию (заключение психиатра)».

Акт о состоянии пациента подписан 20 ноября 1939 г. целым сонмом «специалистов»: врач-психиатр Довбия, консультант-психиатр санотделения АХУ НКВД Бергер, начальник санчасти Ларин, председатель комиссии — военврач 2-го ранга Смольцов.

Острое душевное расстройство…

20 ноября 1939 года врачи считают, что для лечения Эфрона необходимы тридцать-сорок дней. Но Кузьминов, проводивший этой осенью почти все допросы Эфрона, игнорирует эти рекомендации. Уже 8 декабря подследственный снова доставлен в кабинет следователя, — на этот раз для очной ставки с Толстым.

6

Павел Николаевич Толстой в группе обвиняемых, которые предстанут затем перед военной коллегией Верховного суда СССР б июля 1941 года, — фигура почти случайная. Правда, он со всеми знаком еще по Парижу, где жил с шестилетнего возраста и имел широчайшие связи с самыми разными кругами русской эмиграции. Легкий нрав и общительный характер приводили его то к евразийцам, то к младороссам, он был вхож и в «Союз возвращения на родину», и в правобелогвардейские круги. Везде у него находились приятели — и родственные связи. Бывал он не раз и в доме Эфрона; особенно зачастил перед своим отъездом в СССР, в 1933 году.

Отдаленный родственник А. Н. Толстого, он, вернувшись, около года жил в доме писателя в Детском селе под Ленинградом. Позже переселился в Москву. Еще в 1934 году принял предложение «органов» о сотрудничестве и следил, в частности, за приехавшей из Франции дочерью Е. Ю. Скобцовой (матери Марии) — Гаяной, исчезнувшей вскоре в лагерях ГУЛАГа.\*\*

Арестованный в конце июля 1939 года, Толстой уже через неделю начал давать все требуемые показания — и в самом нужном для следствия направлении. Поэтому его охотно вызывают на очные ставки со всеми, кто упрямится. И он «изобличает» недавних друзей и знакомых, в чем требуется, — в шпионаже, террористических замыслах, контактах с троцкистами, антисоветской деятельности.

Он сочинял уверенно, округло, спокойно глядя в глаза своей жертве, порой снисходительно-барски ее увещевая: «Чего уж скрытничать, за грехи свои надо отвечать…» Я не решилась бы это утверждать, если бы не живое свидетельство Тамары Владимировны Сланской. Она рассказывала мне (и не только мне), что, не выдержав главным образом именно тона и позы, она запустила в барственного «изобличителя» чернильницей, схваченной со следовательского стола.

Теперь на очной ставке с Эфроном Толстой утверждает, что тот вовлек его в шпионскую деятельность в пользу французской разведки; накануне отъезда Толстого на родину дал ему задание вступить в контакт с троцкистскими организациями в СССР; он же дал и «явки» в Москве и Ленинграде для связей со своими единомышленниками. Из Ленинграда, как раз через Сланскую, Толстой якобы переправлял Эфрону в Париж добытые шпионские сведения.

Записанная в протоколе реакция Эфрона весьма энергична: «Я абсолютно отрицаю все то, что сейчас сказал Толстой». И в другом месте: «Если я до сего времени полагал, что Толстому изменила память, то сейчас я должен сказать, что то, что он говорит — просто ложь».

Лжесвидетельство, как и слишком хорошая память, не спасут Толстого. В мае 1940 года он делает попытку отказаться от своих показаний. Но, вызванный для пояснений, тут же заберет отказ назад и подтвердит все, сказанное прежде. Его «подверстают», формируя «группу Эфрона», к тем, кого он помог «изобличить». Он будет шестым — и явно «шестым лишним», инородным членом среди «подельников».

7

Наиболее драматичным эпизодом во всем следственном деле Эфрона оказалась другая очная ставка. Она состоялась 30 декабря 1939-го, в самый канун 1940 года.

В этот день (вернее, вечер и ночь) сломить сопротивление Сергея Яковлевича призваны были его ближайшие друзья и товарищи по Франции — Николай Клепинин и Эмилия Литауэр. Допрос начинается еще без свидетелей. Формулировки следователя стандартны:

— Вас полностью изобличил на очной ставке Толстой. Намерены ли вы теперь прекратить запирательство?

Ответ Эфрона, записанный в протоколе:

— Я не считаю себя изобличенным, и изобличение Толстого считаю ложным. Я твердо настаиваю на том, что никакой шпионской деятельностью в пользу иностранных разведок я не занимался…

Вариации того же вопроса будут повторены несколько раз. Но не меняется и смысл ответов Эфрона. Тогда в кабинет следователя вводят Николая Андреевича Клепинина.

С момента его ареста прошло уже более полутора месяцев. Супруги Клепинины были арестованы в тот самый день, когда Эфрона поместили в психиатрическое отделение тюремной больницы: 7 ноября, в день очередной Октябрьской годовщины.

Опускаю ритуал «узнавания» и полагающиеся вопросы к обеим сторонам об отношениях друг к другу. И вот Клепинин повторяет показания, к которым его уже сумели принудить: да, он является агентом нескольких (так!) иностранных разведок и вместе с Эфроном вел активную шпионскую работу.

— Вы подтверждаете эти показания? — обращается следователь к Эфрону.

— Отрицаю их, — отвечает Эфрон. Направляемый вопросами Кузьминова, Клепинин говорит о газете «Евразия», в выпуске которой виднейшую роль играл Эфрон. О том, что газета предназначалась для распространения на территории СССР и была ориентирована на то, чтобы «нащупать оппозиционные элементы внутри Советского Союза».

(Это соответствовало исторической правде только по отношению к замыслу издания, в практическом же его осуществлении редакция резко ушла влево.)

— Все это, однако, вовсе не говорит о шпионской деятельности, — записана реплика Эфрона.

Тогда Клепинин вводит тему связи Эфрона с русскими масонами в Париже. В частности, с графом Бобринским, который, по утверждению Клепинина, был в прямом контакте с французской разведкой. Масоны были заинтересованы, говорит Клепинин, в проникновении на территорию Советского Союза и считали, что Эфрон может быть им полезен как человек, имеющий тесные связи с советским полпредством в Париже, и как деятель «Союза возвращения на родину».

— Что вы скажете теперь? — вопрос следователя обращен к Эфрону.

— Я позволю себе утверждать, — записан ответ, — что у Николая Андреевича также никакой шпионской деятельности не было.

Ответ явно не по существу вопроса. И как ни сложно по «протоколам» строить предположения о мотивах поведения, все же складывается впечатление, что во время этой встречи Эфрон пытается образумить своего недавнего друга. Он хочет помочь ему не поддаться нажиму следствия, сосредоточить его на отрицании главного обвинения, к которому их обоих подводят.

Клепинин, однако, снова напоминает конкретность: одну из встреч в 1935 году в кафе у Эколь Милитер. Тогда Эфрон при Клепинине писал письмо Петру Бобринскому, и они говорили о масонах. Снова Эфрон уходит от прямой реакции на сказанное.

— Был такой факт? — обращается следователь к Эфрону.

— Я ничего не понимаю… — записано в ответе. — Я знаю только, что никакой антисоветской деятельностью после 1931 года я не занимался…\*\*

— Сережа, — обращается наконец Клепинин к своему давнему другу (и эту запись я снова привожу дословно), — еще раз к тебе обращаюсь. Дальше запираться бесполезно. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно и преступно… Рано или поздно ты все равно признаешься и будешь говорить…

На очных ставках запись ведет обычно стенографистка, а не следователь. После расшифровки своих записей она перепечатывает их на машинке. И потому на очных ставках мы несравненно лучше «слышим» голоса подследственных, чем в протоколах других допросов. Их интонации естественнее, противоречия не замазаны… Протоколы очных ставок фиксируют и возмущенные реплики «обличаемого», и уговаривающий тон другой стороны. Именно эти протоколы рассеивают возникающие сомнения сегодняшнего читателя следственных дел тех времен.

Клепинина уводят.

Его место занимает Эмилия Литауэр.

Арестованная в один день с Ариадной, Эмилия сдалась тоже не сразу. Спустя две недели после ареста, на очной ставке с тем же Толстым 10 сентября 1939 года, она еще упорно сопротивлялась нелепым обвинениям. Но теперь позади были уже четыре месяца испытаний. И в их числе — лефортовские застенки.

На вопрос следователя к Эфрону, узнает ли он Эмилию, Сергей Яковлевич отвечает: «Да, это мой товарищ и друг».

— Ваш друг, — говорит Кузьминов, — также изобличает вас своими показаниями в шпионской деятельности.

— Я бы хотел, — так записана реплика Эфрона, — поточнее услышать, что именно показала Эмилия Литауэр.

И теперь он слышит уже из ее уст — о том же: о совместной шпионской работе, начавшейся в 1927 году, когда Эмилия вступила в парижскую евразийскую организацию, о распределении сфер деятельности между евразийцами после их «раскола» в конце двадцатых годов. «Мне было велено вступить во Французскую компартию, — говорит Литауэр, — а Эфрон взял на себя шпионскую работу в «Союзе возвращения» и в советской разведке…»

Эфрон явно подавлен. У него вырывается:

— Если все мои товарищи считают меня шпионом, в том числе и Литауэр, и Клепинин, и моя дочь, то, следовательно, я шпион и под их показаниями подписуюсь…

Он просит прервать допрос. Его состояние отражает неправдоподобно корректная запись в протоколе: «Сейчас я ничего не могу говорить, я очень утомлен».

Литауэр уведена.

Но конца допроса не видно — его машинописный протокол занимает тридцать семь страниц. Начатый, если верить проставленному времени, в без четверти десять вечера, допрос закончится только в половине третьего ночи.

Похоже на то, что эта двойная очная ставка — последняя надежда следствия сломить арестованного. Цель кажется им теперь близкой к достижению. Депрессивное состояние Эфрона не оставляет сомнений.

— Прошу отложить показания, — повторяет он не однажды. И получает записанный в протоколе ответ:

— Ваша просьба будет удовлетворена, только скажите, на какие разведки вы работали.

Тогда Эфрон просит дать ему возможность задать еще некоторые вопросы Клепинину. И того снова возвращают в следовательский кабинет.

— В чем ты меня обвиняешь, — обращается к нему Эфрон, — скажи мне прямо?

— В том, что ты был членом евразийской организации. А она имела план проникновения в Советский Союз с помощью иностранных разведок. Святополк-Мирский, — поясняет далее Клепинин, — приехал в СССР, чтобы занять командные высоты в советской печати. Он должен был организовать травлю Фадеева по заданию Бруно Ясенского и его группы…

— От кого я мог знать об этом плане?

— От Мирского, от Малевского-Малевича, от Сполдинга…

— На какие разведки я работал?

— На несколько, в том числе на французскую… — отвечает Клепинин.

— Теперь вам ясно? — обращается к Эфрону следователь.

— Мне ясно, — записана усталая реплика Эфрона.

— Так на какие же разведки вы работали? — не отстает следователь.

— Я ничего не могу сейчас рассказывать, — повторяет Эфрон.

Снова уводят Клепинина. Снова введена в кабинет Эмилия Литауэр. Деморализованный и, видимо, мучающийся физическим недомоганием, Эфрон вдруг соглашается на компромисс. Хорошо, с разведками он был, хоть и опосредованно, связан, но шпионом во всяком случае не был.

Однако теперь уже Литауэр не дает Сергею Яковлевичу остановиться на полдороге. Она излагает версию, к которой тому предлагается присоединиться. Согласно ей, Эфрон еще перед отъездом Эмилии из Франции дал ей задание: проникнуть, используя профессию очеркиста, на советские военные заводы и собрать там шпионские сведения. Она «напоминает» также, что, уже приехав в СССР, Эфрон продолжал ее здесь инструктировать. Он предлагал, в частности, использовать плохое знание французского языка редакторами французских изданий, выходивших в СССР. Она, Эмилия, должна была «протаскивать» на страницы этих изданий антисоветскую пропаганду. Например, говорит она, Сергей Яковлевич считал, что надо вести борьбу с «официальным оптимизмом».

Оценить эту последнюю подробность, всерьез зафиксированную в протоколе, мог, я думаю, только Эфрон. Ведь похоже, что Эмилия, как и Ариадна, предлагает смесь выдумки с правдой. И на минуту вспыхивает подозрение: а что, если и в самом деле бывшие евразийцы не отошли полностью от своих прежних идей? Ибо в их установках середины двадцатых годов занимала важнейшее место именно эта задача: преобразовать на евразийский лад существующие советские организации. Правда, шпионские сведения о военных заводах для этого, кажется, все же не требовались.

Следователь требует у Эфрона подтверждения сказанному. Тот отвечает:

— Повторяю, я ничего рассказывать не могу.

— Когда же вам верить? — спрашивает следователь, имея в виду, что Эфрон уже как бы признался в сотрудничестве с разведками.

— Пусть меня изобличают мои друзья, — записан ответ Эфрона. — Сам я ничего сказать не могу.

И тут Литауэр повторяет почти то же самое, что несколькими часами ранее сказал своему другу Клепинин:

— Я хочу дать настойчивый совет Сергею Яковлевичу, — говорит она, — рассказывать всю правду, не скрывая ничего ни о себе, ни о других. Я говорю это как товарищ и друг…

Очная ставка прервана в середине ночи. И почти с нулевым для следствия результатом. Но Эфрону она несомненно многое прояснила. Он воочию убедился, что его друзья приняли как неизбежность версию, состряпанную следствием. Эта версия была ему теперь внятно изложена.

Но убедилось и следствие: оговаривать себя и других Эфрон по-прежнему не собирался. А очные ставки с ним могли только поколебать сподвижников, демонстрируя стойкость человека, который был для них авторитетом. И в дальнейшем к очным ставкам с Эфроном следствие уже не прибегает.

8

Клепинин вел себя на допросах иначе, чем Эфрон. На первый взгляд может показаться (так показалось впервые читавшей протоколы дочери Клепининых Софье Николаевне, слишком потрясенной, чтобы их анализировать), что Николай Андреевич просто не выдержал испытаний, сломался. Но нет, это больше похоже на другое: на продуманную, лишенную иллюзий линию поведения, в фундаменте которой лежала трезвая оценка безнадежной ситуации, в которой они все оказались.

В отличие от Эфрона, Ариадны и Эмилии Николая Андреевича вызвали на первый допрос не сразу, в день ареста, а только через неделю — 15 ноября. За это время он, видимо, имел возможность понаблюдать и послушать сокамерников, прийти в себя, подумать. И у него не осталось уже надежд, — какие, кажется, еще сохранял Эфрон: что, если он будет рассказывать правду, его услышат.

Клепинин возобновил свое сотрудничество с НКВД с начала 1939 года (и только после этого получил работу в ВОКСе!). Он завязал-таки кое-какие связи и успел уже наглядеться на то, что делалось в отечественном Учреждении.

И с каким же наслаждением, при каждом удобном случае, он «топил» теперь на допросах своих коллег! Правда, тех, о ком он знает, что они арестованы и навредить ему уже не могут. Он говорил, например, о Шпигельглассе, в кабинете которого он вел весной тридцать девятого такие странные переговоры, что тот нарочно провалил лозаннскую «акцию», давая глупейшие инструкции участникам и не предусмотрев элементарных мер конспирации (все подробности убийства Рейсса Клепинин и Эфрон теперь достаточно хорошо знают из уст приезжавших в Болшево Кондратьева и Смиренского).

С удовольствием, которое легко угадывается, подследственный рассказывал и о поведении сотрудников НКВД, наезжавших в тридцатые годы во Францию в служебные командировки: как транжирили они там, вдали от начальственных глаз, казенные средства, поселяясь в самых дорогих отелях, посещая самые фешенебельные парижские рестораны и разъезжая на такси по делам вовсе не служебным…

Он ни на грош не верил своим следователям. Но и переиграть их не пытался. Он вел себя так, словно, ни на какое спасение уже не надеясь, старался лишь уберечь себя и своих товарищей от лишних мучений.

(Он их, разумеется, не избежал. Кто-то из сокамерников Клепининой сообщил позднее ее сыну, что жена слышала во время допроса из-за стены стоны ее истязуемого мужа.)

Николай Андреевич уговорит на очных ставках сначала Эмилию, а потом и долго сопротивлявшуюся Нину Николаевну принять его линию поведения.

Он говорил им то же, что и Эфрону: есть ситуации, когда сопротивление бесполезно. Никто не верит нашему отрицанию. Рано или поздно все равно придется «признаваться»… Он находил формулировки, пригодные для ушей следователя, так что в конце концов «свои» его понимали. И жена, и Эмилия на последующих допросах вели себя именно по этому рецепту.

Он почти что проинструктировал их на очных ставках — как и о чем следует говорить, чтобы не мучиться, плутая в тенетах полной лжи. Рецепт его был прост: зарубежных сотрудников советской разведки надо всякий раз называть агентами разведок иностранных!

Только и всего.

И все довольны.

И подробности, которых без конца требовали от них на допросах, могли быть теперь умножены сколько угодно. Особенно когда речь шла о тех, кто остался во Франции…

Но Эфрон оказался неумолим перед доводами Николая Андреевича.

К двум разным источникам восходит слух о том, что Эфрона приводили в кабинет Берии. И будто бы «беседа» их прошла крайне бурно.

Алексей Эйснер слышал, отбывая свой срок в лагере, что Сергей Яковлевич вел себя при этом свидании столь непокорно, что якобы был тут же, в кабинете, застрелен охраной наркома.

Автор другой версии — Ариадна Сергеевна. Она утверждала, что, когда ей вручали в Военной Прокуратуре документ о реабилитации отца, прокурор сказал ей: «Ваш отец — мужественный человек. Он осмелился перед самим Берией оспаривать предъявленные ему обвинения. И поплатился за это расстрелом в стенах Лубянки».

Но Эфрон был расстрелян только 16 октября 1941. Хотя бы это мы знаем теперь достоверно.

И все же, видимо, нет дыма без огня. В кабинет Берии Эфрона, скорее всего, приводили: упорство арестованного в сочетании с надеждами, которые на него возлагались (об этом чуть позже), делают вполне реальным такое предположение. И так как нет достоверных свидетельств о том, как могла пройти такая встреча, кажется уместным привести соответствующий эпизод из воспоминаний Евгения Гнедина, возглавлявшего отдел печати Наркоминдела. Он был арестован почти в то же время, что и Эфрон (в мае тридцать девятого), также прошел через Лефортово — и еще через Сухановскую тюрьму, а приговор тому и другому был вынесен с промежутком всего в сутки.

У Гнедина вымогали лживые показания против Литвинова; Эфрона заставляли принять версию шпионажа и связей с троцкистскими террористами для большой группы репатриантов. Можно уверенно утверждать, что, если бы Эфрон уступил, это сказалось бы самым отчаянным образом на судьбах множества вернувшихся из эмиграции: «преступные цели» их приезда в СССР уже не нуждались бы ни в каком обосновании, самом захудалом.

Гнедин, однако, выжил и написал мемуары. И перечитывая их, с особенной силой понимаешь искаженность сведений, зафиксированных в протоколах допросов. В них нет ни опухших от многочасового стояния ног, ни яркой ослепляющей лампы, направленной прямо в глаза, ни оплеух и зуботычин, ни унижающей брани, ни страшных воплей за стеной, которые не может заглушить даже аэродинамическая труба, день и ночь испускающая рев во дворе лефортовской тюрьмы.

Воспоминания Евгения Гнедина «Себя не потерять» помогают представить кабинет всесильного «нелюдя», к сердцу которого будет взывать в своем письме Марина Цветаева.

Гнедину пришлось побывать в кабинете Берии трижды. В присутствии наркома, и даже по его особым указаниям, двое подручных (одним из них был начальник следственного отдела Кобулов) принялись избивать арестованного, сначала ударами в голову, потом резиновыми дубинками по пяткам, — едва он попробовал повторить перед Берией слова о своей невиновности. Не добившись желаемого, палачи бросили заключенного в холодный карцер с каменным полом. А через некоторое время уже снова тащили в тот же кабинет. «Когда меня вторично отправили в холодную, я потерял представление о времени, — пишет Гнедин. — Ни непосредственно после окончания серии пыток, ни позднее, спокойно размышляя, я не мог определить, как долго длилась эта первая серия: трое, четверо, пятеро суток? Я помню, что, впервые возвращенный ненадолго в камеру, я удивился, узнав, что миновали сутки. Кажется, был утренний туалет заключенных. Бывший полковник, оглядев меня (а программа еще далеко не была завершена) сказал: «Я бы и половины не выдержал!» Боюсь, что знакомство с моим опытом подорвало его стойкость»[16].

9

Уехав из Болшева в Москву после ареста Николая Андреевича Клепинина, Цветаева с сыном поселилась в крошечной проходной комнатке у Елизаветы Яковлевны. Но уже в декабре, благодаря хлопотам Пастернака, они переехали в Голицыно, под Москвой, в Дом отдыха писателей.

Зима и весна 1940 года проходят здесь под двойным знаком: страха и напряженной работы над переводами. Мало того что с арестом дочери и мужа Марина Ивановна оказалась абсолютно без всяких средств к существованию. Теперь ей еще надо было зарабатывать и на передачи в тюрьму — Сергею Яковлевичу и Але. Цветаева делала их еженедельно: каждому по две передачи в месяц. Ибо только в момент передачи можно было удостовериться: жив.

23 декабря — эта дата стоит на письме, которое Цветаева отправила на имя наркома внутренних дел Л. П. Берии. Очень возможно, что аналогичное письмо было отправлено и на имя Сталина.

Сохранившиеся в архиве поэта варианты выдают мучительную работу над составлением текста.

Абзацы и фразы то вписываются, то вычеркиваются. Марина Ивановна пытается заслонить мужа и заслугами своего отца перед русской культурой, и революционной биографией Елизаветы Дурново-Эфрон, матери мужа, и личным свидетельством о святой вере Сергея Яковлевича в правоту пути советского государства. В письме подчеркнуты врожденно высокие качества личности Эфрона: благородство, бескорыстие, неспособность к двоедушию… «Утверждаю как свидетель, — пишет Цветаева, — этот человек Советский Союз и идею коммунизма любил больше жизни…»

Тон интимной доверительности неизменно присущ цветаевским письмам, кому бы они ни были адресованы, — это характернейшая их черта. И даже письмо палачу — не нарушает этой традиции![17]

Какая же бездна иллюзий и надежд должна была еще сохраниться в ее отчаявшемся сердце, чтобы — после всех черновиков и вариантов — остановиться на такой попытке защиты, на такой тональности!

Злой издалека чует злого, мерзавец убежден «от живота», что мир состоит из мерзавцев, только притворяющихся добродетельными; вор уверен, что воруют все и люди делятся лишь на пойманных и поймавших. Марина Цветаева, автор поэмы «Молодец» и статьи о Пугачеве, упрямо, наперекор всем видимым фактам верит, что у самого закоренелого злодея сердце не омертвело до конца. Ей еще не приходит, по-видимому, в голову, что адресат ее — из нечеловеков, о которых она же знала, что они есть! Знала, раз создала еще весной тридцать девятого года эту полную последней горечи строку:

Но писать о нелюдях или столкнуться с ними лицом к лицу — это разное. Когда они вдруг вторгаются в твою собственную жизнь — в это почти невозможно поверить, — так сознание отказывается верить во внезапную личную катастрофу. Во всяком случае, Марина Ивановна, кажется, еще надеется, когда пишет эти письма, что ее мужа оговорили. И лжи поверили. И она рассчитывает на самую крохотную долю живого сердца упыря, — может быть, оно еще способно откликнуться на доверительный голос!

Надеется вывести Минотавра из убежища зла — «по ниточке добра», хотя бы на минуту. Хотя бы ради одного-единственного доброго дела…

Все еще верит, в декабре страшного для нее тридцать девятого года.

Не потому ли еще теплится в ней эта безумная вера, что от Пастернака она не могла не знать к моменту написания, что несколько лет назад аналогичное письмо Ахматовой — помогло! И муж и сын Анны Андреевны были освобождены почти сразу! Правда, впоследствии их снова арестовали — но это уже другой вопрос.

Иначе трудно было бы понять интонации этого последнего, кажется, образчика цветаевской «прозы».

(Почему миновала ее судьба «жены врага народа»? Кто может дать ответ!\*\* Советская практика говорит только о том, что правила тут — как и во многом другом — не существовало.

Спасли ли ее от ареста причуды чьей-то «высокой» милости — или простого недосмотра — или обычной российской неразберихи?

Из самого ближайшего круга Эфрона были уже арестованы жены Романченко, Афанасова, Шухаева… Марина Ивановна не могла не знать о таком. В Мордовии, в Потьме, уже существовало с 1937 года специальное отделение в лагере: для «членов семьи» репрессированных «врагов народа». На высоком уровне считалось, что все это — потенциальные мстители за родных!)

Позже она будет вспоминать, какой страх она испытывала в Голицыне чуть ли не каждую ночь. То было ожидание ареста, почти полная уверенность в том, что рано или поздно это случится.

Ибо из всех обитателей болшевского дома уцелели только она и Мур.

Она беспокоилась не напрасно.

Каждого из арестованных обитателей болшевского дома непременно спрашивали о Цветаевой.

7 января 1940 года вызывают на очередной допрос Клепинина. И в этот день его допрашивают только о Марине Ивановне. Обычно арестованным задавали вопросы о нескольких лицах — требовался материал для новых арестов — или для нажима на уже арестованных.

Но в этот день ни о ком больше Николая Андреевича не спрашивали.

Очень похоже на то, что допрос этот — реакция на полученное в недрах Учреждения письмо Марины Ивановны в защиту мужа. Прошло как раз две недели с момента написания послания. Самое время заинтересоваться автором!

Да, отвечает Клепинин, он знает Цветаеву с начала 1927 года. Но сблизились они позже, в середине тридцатых годов, когда Клепинин стал постоянно бывать на квартире Эфронов, а Эфрон и Цветаева бывали у Клепининых.

(Николай Андреевич изо всех сил лавирует между Сциллой и Харибдой: он явно хотел бы и Цветаеву защитить, и удержать доверие следователя к собственному полному раскаянию.)

— Цветаева, — записано в протоколе, — человек очень своеобразный. Все ее интересы сосредоточены на литературе. Кроме того, она резко выраженный индивидуалист и человек несоциальный по природе. Она часто говорила, что хотела бы жить лет сто или двести тому назад, потому что все современное ей чуждо и неприятно…

— Ее политические убеждения? На этот вопрос очень трудно ответить… Обычно она противоречит тому человеку, с которым в данный момент говорит. Говоря с белоэмигрантами, она неоднократно высказывала просоветские взгляды, а говоря с советскими людьми, защищала белоэмигрантов.

Весь строй СССР и коммунизм ей чужды. Она говорила, что приехала из Франции только оттого, что здесь находятся ее дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные разговоры она вела очень часто. Смысл их заключается не в том, что она критиковала какую-то сторону жизни СССР, но в том, что весь строй СССР, его идеология, его дух для нее неприемлемы, и она никогда не сможет принять их. Хотя при этом она никогда не указывала на тот политический и социальный строй, который она бы предпочитала.

В связи с арестом сначала сестры, а потом дочери и мужа ее недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что аресты несправедливы.

Насколько я знаю, она была совсем не в курсе шпионской и антисоветской деятельности своего мужа, а он, опять-таки насколько я знаю с его слов, не посвящал ее в это…

— С кем она была знакома до приезда в СССР?

— Ее связи во Франции были чрезвычайно обширны, так что я даже затрудняюсь их перечислить…

Клепинина будут еще дважды спрашивать о Цветаевой: на допросе 19 февраля\*\* и 4 июля 1940 года. В том и другом случае настойчиво ставится вопрос о круге общения Марины Ивановны — во Франции и по возвращении. Ответы Клепинина надо признать крайне аккуратными. Отвечая, он оперирует психологическими характеристиками, и это позволяет ему провести свою линию. По существу это все-таки линия защиты.

Очень кстати Николай Андреевич сообщает следователю о неуживчивом характере Цветаевой, из-за которого она давным-давно поссорилась, например, со Святополком-Мирским (он к этому времени уже арестован). Подчеркивает, что дружеский круг Сергея Эфрона был совсем не тот, что у его жены. Общались они, — говорит Клепинин, — с совершенно разными слоями русской эмиграции. И он убежден, что жена не была осведомлена, чем на самом деле занимался ее муж…

Из советских писателей, приезжавших в Париж и встречавшихся с Цветаевой, названы только Маяковский, Пастернак и Алексей Толстой. Хотя могли быть названы Бабель и Пильняк — уже арестованные теперь. Среди друзей Марины Ивановны во Франции упомянуты политически нейтральные имена Ходасевича, Ремизовых, Бальмонта, Волконского, Головиной, Анны Ильиничны Андреевой и ее сыновей. Никого из них нет в Советской России.

Впрочем, не только по отношению к Цветаевой Николай Андреевич держится той же линии. Отвечая на вопрос, чем именно занималась по возвращении его жена Нина Николаевна, Клепинин утверждает, что в НКВД ей не поручали ничего интересного, и от этого она испытывала явное чувство обиды. Чтобы не травмировать ее самолюбие, Николай Андреевич давно перестал задавать ей вопросы. Потому он и не в курсе ее реальных дел… Если же его спрашивают о конкретных занятиях Эфрона, Клепинин жалуется на «манию конспирации» у Сергея Яковлевича. Тот постоянно играл в секреты, записано в протоколе допроса, это было просто смешно…

Однако защитить Эфрона всерьез Клепинин не может.

Ибо капитулянтская версия, на которую он согласился на первом же допросе, без фигуры руководителя просто не проходит.

Версия создана следствием с очевидной помощью П. Н. Толстого. Но кто знает, в чьих устах она прозвучала впервые! Может быть, на допросах Святополка-Мирского, или Романченко, или еще кого-нибудь из тех, кого арестовали раньше…

Клепинин, во всяком случае, не сопротивляется тому, что ему навязывают. Он согласился признать себя французским шпионом уже при первой встрече со следователем. К концу второго допроса он согласен, что был агентом еще английской и бельгийской разведок. Евразийцы, выступающие в союзе с троцкистами и как агенты зарубежных разведок, — эту галиматью Клепинин со временем даже начинает «обставлять» множеством подробностей.

Замысел евразийцев, говорит он, оформившийся в 1928 году, состоял в том, чтобы проникнуть в Советский Союз, войти там в руководящие круги самых разных сфер деятельности, а затем — шпионить в пользу иностранных государств. Вредить и «подрывать основы».

Эфрону, который играл одну из руководящих ролей в евразийстве, отмечает Клепинин на допросе 19 февраля 1940 года, удалось собрать вокруг себя значительную группу лиц: Толстой, Смиренский, Ларин, Балтер, Тверитинов, Позняков, Струве, Палеолог, Эйснер, — более двадцати человек. И в тридцатые годы началась усиленная «переброска» кадров в СССР.

Их первая задача по приезде состояла в сближении, в частности, с журналистскими кругами, писательскими и военными. Но весь план, утверждает Клепинин, лопнул по вине недальновидного руководства НКВД. Оно пересажало тех, за кем гораздо лучше было бы следить…

10

В самом конце января 1940 года арестован последний участник «группы», которая предстанет перед военной коллегией Верховного суда, объединенная общим обвинением и общим приговором. Этим последним стал Николай Ванифатьевич Афанасов, вернувшийся в СССР в 1936 году. Он жил и работал теперь в Калуге; 29 января был увезен в машине НКВД прямо с работы, и родные узнали о его местонахождении лишь спустя долгий срок.

Афанасов также из числа давних друзей Эфрона. Мальчишкой он убежал на гражданскую войну, примкнул к Добровольческому движению; после поражения белых жил в Болгарии, работал шахтером и лесорубом, потом переехал во Францию. Когда выходила газета «Евразия», он ведал экспедицией, помогал распространять тираж и жил некоторое время прямо в редакционном помещении в предместье Парижа Кламаре.

Как Эфрон и Клепинины, Афанасов стал секретным сотрудником советской разведки в Париже. В середине тридцатых годов с каким-то особым заданием он ездил в Германию под конспиративным именем «Клаус». Этого оказалось достаточно, чтобы теперь ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу германской разведки. Где-то он пересекся с известным русским писателем-эмигрантом Романом Гулем, — и это квалифицировано как передача неких секретных сведений в распоряжение гестапо. Его имя всплыло в показаниях Литауэр и Клепинина, в контексте явно компрометирующем, и позже, на заседании военной коллегии Верховного суда, Афанасов будет категорически опровергать эти показания.

Эфрона спрашивают об Афанасове в марте. Как и в других случаях, Сергей Яковлевич дает сухую фактографическую справку, особенно подчеркивая «рабочие» профессии Николая Ванифатьевича.

— С какой целью он приехал в Советский Союз? — задает свой вопрос следователь.

— С целью работать на родине, — отвечает Эфрон.

Мне не пришлось, к сожалению, ознакомиться со следственным делом Афанасова. Однако в суде он виновным себя не признал и, видимо, сломить его, как и Эфрона, не удалось.

Пройдет целых полтора месяца после очной ставки с Клепининым и Литауэр, прежде чем Эфрона снова вызовут на допрос.

Чем было заполнено это время? Болезнь? Новая порция пыток? Или попросту следствие занято другими? Ответа мы не узнаем. Но в протоколе допроса от 15 февраля подпись Эфрона ужасна, почти неузнаваема.

Кажется, что она сделана пером, едва удерживаемым в руках. Но показания те же.

— Может быть, вы начнете давать показания? Ваши сообщники уже полностью вас изобличили…

Ответ Эфрона:

— Начиная с 1931 года никакой антисоветской деятельностью я не занимался. В своей работе я был связан с советскими учреждениями, и моя работа носила строго конспиративный характер.

— Характер вашей конспиративной работы, связанной с советскими учреждениями, — записано в протоколе, — следствие не интересует. Расскажите о той, которую вы скрывали от советских учреждений.

— Таковой не было. Как секретный сотрудник я был под контролем соответствующих лиц, руководивших секретной работой за границей.

Последняя фраза арестованного снова фиксирует его физическое недомогание:

— Прошу прервать допрос, так как я не совсем хорошо себя чувствую…

Не совсем хорошо… Стали бы в стенах Лубянки обращать внимание на это «не совсем»…

11

Отметим очевидный факт: следствие явно уклоняется от рассказа Эфрона о его реальной деятельности в советских спецслужбах во Франции. Ничего неожиданного здесь нет: интерес к истине у сотрудников Берии не больше, чем был во времена Ежова и Ягоды. И все же трудно не испытать разочарования: так ценна была бы возможность узнать, что называется, из первых рук о конкретностях его секретной работы и об истории убийства Игнатия Рейсса. Ибо, как было уже отмечено, Сергей Яковлевич достаточно откровенен в том, во всяком случае, что касается его собственных действий. Он не создает «версий», не подтасовывает фактов, может разве что уклониться от подробностей.

В протоколах показаний Эфрона эпизод с убийством Рейсса всплывает только однажды. 29 марта 1940 года (одиннадцатый допрос) подследственного спрашивают о Димитрии Смиренском. И Эфрон говорит о нем, среди прочего, как о человеке, который участвовал в предварительной подготовке «дела Рейсса», но не в самом акте убийства.

— Откуда вам это известно? — спрашивает следователь.

— От лиц, которые были прямо или косвенно замешаны в это дело, — отвечает Эфрон, — от Клепининых, Кондратьева, от самого Смиренского…

Уточняющих вопросов больше не задают — или они не зафиксированы в протоколе. Эфрон же верен себе: он отвечает в таких случаях без подробностей.

Крайне интересны для прояснения вопроса показания Клепинина.

Он, который чуть ли не с первого допроса охотно говорит о своей «предательской шпионской работе», о вероломстве, двурушничестве и всем прочем — в том наборе, который ему стандартно предлагается следователем, — касаясь «дела Рейсса», упорно повторяет: ни он, ни Эфрон прямого отношения к лозаннской «акции» не имели. Еще за полгода до того Эфрон «получил другое задание», а сам Клепинин, по его словам, узнал об убийстве Рейсса в Лионе из газет. Но Вадим Кондратьев, реально входивший в группу преследования, заявился в их дом спустя всего несколько дней после «акции» — перед тем, как окончательно исчезнуть из Франции. И тем самым была брошена тень на Клепининых, бывших с Кондратьевым в родстве. А связи Эфрона с советским полпредством были слишком широко известны. И таким образом они оба были «на виду» у полиции.

Впрочем, прошел еще месяц до того дня, когда тот и другой получили от своего «секретного» начальства приказ немедленно отправиться в Гавр и сесть на пароход «Андрей Жданов», чтобы навсегда покинуть Францию. Приказ, отданный Грозовским, был передан через посредника и не подлежал обсуждению. Между тем, утверждает Клепинин, сама поспешность их «эвакуации» была ошибкой и глупостью. Потому что тем самым советские спецслужбы как бы расписались в прямой своей причастности и к убийству Рейсса, и к похищению генерала Миллера. А с другой стороны, говорит Клепинин, их бегством, получившим огласку, была явно удовлетворена и французская полиция. Она могла теперь уверять, что сделала все, что от нее зависело: подлинные убийцы обнаружены, но — увы! — скрылись. Дело, которым полиция и так занималась крайне неохотно, могло быть закрыто, — по крайней мере, на стадии поисков виновных.

Эти показания, мне кажется, крайне важны для тех, кто действительно хотел бы, наконец, разобраться, «кто есть кто». К чему бы, кажется, Клепинину в этом вопросе сочинять? В той ситуации, в какой он в это время находился, «героичнее» и выгоднее было бы перед НКВД приписать себе как раз активную роль: ведь в Швейцарии был убит «невозвращенец», «предатель»!

Стоит задуматься: не содержится ли в этих признаниях Клепинина, не один раз повторенных в протоколах его допросов, подлинная разгадка той репутации, какая закрепилась за Эфроном (и Клепининым) чуть ли не на полстолетие?

Три человека, лично близких Сергею Яковлевичу, в свое время (в семидесятые годы) решительно настаивали на том, что роль Эфрона была совсем иной, чем утверждала официальная версия, распространенная зарубежной прессой. Все три признания, однако, можно считать субъективными. Но дадим же слово и адвокатам! А уж затем взвесим на весах собственных представлений о достоверности весомость того, что мы узнали.

Итак, первое — это слова дочери Эфрона, сказанные мне лично: о том, что для Сергея Яковлевича убийство Рейсса было неожиданным. Он был уверен, утверждала Ариадна Сергеевна, что «невозвращенец» будет увезен в Москву, чтобы предстать перед советским судом.

Второе — слова самого Эфрона: «Меня запутали в грязное дело…» Их сообщила в адресованном мне в восьмидесятые годы письме Вера Александровна Гучкова-Трейл, близкая приятельница Сергея Яковлевича, — как и он, сотрудница советских спецслужб. По ее словам, фраза эта была произнесена при их свидании в Париже, состоявшемся вскоре после убийства в Швейцарии.

Наконец, третье. Елизавета Яковлевна Эфрон так передавала слова брата, сказанные ей однажды: «Мне пришлось взять на себя чужую вину…» Между тем известно, что сестра пользовалась безусловным доверием у Эфрона.

«Делу Рейсса» посвящено немало статей и даже книг, и все же картина только теперь начинает проясняться. Известно, что операцией в целом руководил приехавший из Москвы в Париж летом 1937 года С.М. Шпигельгласс, в ту пору заместитель начальника Иностранного отдела НКВД. По его заданию Эфрон организовал группу, выследившую Рейсса и осуществившую убийство. Историки безусловно подтверждают, что самого Эфрона в Швейцарии не было. Но насколько он все же был причастен к «делу» — и был ли причастен?

«Полицейские расследования с целью определить виновность Эфрона в деле Рейсса оказались бесплодными»[18], — пишут швейцарские историки Д.Кунци и П.Хубер, работавшие в архиве Гуверовского Института социальных проблем. (Стэнфорд, США) и досконально изучившие архивы швейцарской и французской полиции, относящиеся к «делу Рейсса».

Среди прочего, они ссылаются на допросы арестованных в тридцать седьмом году во Франции соучастников «акции» — Пьера Дюкоме, Димитрия Смиренского и Ренаты Штейнер.

Все трое утверждали, что инструкции им передавались через человека по имени «Михаил», фамилии которого, как и его адреса, они не знали, хотя встречались с ним лично. По указанию «Михаила» участники «акции» отправились на поиски исчезнувшего Рейсса в Амстердам, Реймс, Шамони и другие места. Именно, он слал затем в Швейцарию телеграммы, обнаруженные полицией. Описание внешности «Михаила», данное в показаниях троих — независимо друг от друга, — трудно идентифицировать с обликом Эфрона: «довольно крепкого телосложения, рост около 175 см, бритый (без бороды). Носил фетровую шляпу, выглядел человеком воспитанным, говорил по-французски и по-русски, но по-русски не чисто».

Любопытно, что на втором допросе Цветаевой во французской полиции, в том же тридцать седьмом году, отвечая на вопрос, знает ли она некоего «Михаила», Марина Ивановна вполне простосердечно назвала Михаила Штранге, сына владельцев русского пансиона в Верхней Савойе (замок Арсин в Сен-Пьере), характеризуя его как литератора и славного человека. Между тем на сегодняшний день именно этот человек (благополучно вернувшийся в СССР и благополучно прослуживший здесь до своей кончины в Москве в 1967 году) и вызывает у современных историков наибольшие подозрения как «координатор» (не руководитель, конечно!) убийства под Лозанной.

Недавно изданные воспоминания Павла Судоплатова, отставного генерала КГБ, также отводят от Сергея Эфрона обвинение в столь упорно приписывавшемся ему убийстве. Судоплатов лично знал прямых убийц Рейсса — Бориса Афанасьева и Виктора Правдина. Мало того, он встретился с ними сразу же после свершения «акции» в Москве. Он сообщает, в частности, что в награду Афанасьев получил солидный пост в управлении разведки, а Правдин был устроен на работу в Издательство иностранной литературы, где он проработал до своей смерти в 1970 году. Денежное вознаграждение получила и мать Правдина, жившая в Париже.

«Утверждения, что Сергей Эфрон, муж знаменитой русской поэтессы Марины Цветаевой, участвовал в передаче Рейсса в руки НКВД, являются фальшивыми, — пишет Судоплатов. — Эфрон, который действительно работал на НКВД в Париже, ничего не знал об этом деле»[19].

Подверстаем сюда же еще один, может быть, самый важный документ: это «Справка», находящаяся в Следственном деле С. Я. Эфрона. Она составлена в связи с запросом дочери о реабилитации отца и подготовлена на материале секретного архива КГБ.

Среди прочего, в ней говорится, что во Франции Сергей Яковлевич «использовался как групповод и наводчик-вербовщик». Отмечено в «Справке» также участие Эфрона в евразийском движении, и его вступление в масонскую ложу «Гамаюн» (действительно по заданию советской разведки!), и его просьба об отправке в сражающуюся Испанию, отклоненная начальством…

«Справка» предназначена работникам НКВД для сугубо внутреннего употребления. И в ней нет ни слова об участии Эфрона в «лозаннском эпизоде»!..

12

Направленность дознания органов НКВД во второй половине тридцатых годов определена жестким стандартом, совершенно не зависящим от реальных обстоятельств арестованного. Предъявляемые обвинения не имеют, как правило, почти никакого отношения к действительным причинам, по которым он содержится в заключении. Характер обвинения продиктован соображениями «государственными», почти полностью игнорирующими конкретную личность и ее биографию. Мы знаем это уже достаточно; но живое знакомство со следственными делами еще и еще раз подтверждает известное.

«Государственный» же — на уровне Берии и Сталина — замысел в отношении Эфрона и его товарищей, весьма похоже, заключался в возможности организовать еще один шумный политический процесс — в развитие предыдущих.

Как известно, Рыкова и Бухарина НКВД уже попытался обвинить в преступных связях с русской эмиграцией в Париже; Пятакову инкриминировалась связь с Троцким и зарубежными троцкистами.

Как соблазнительно было теперь продолжить начатую тему! В глазах Сталина и Берии бывшие эмигранты, приехавшие в Советский Союз, «замаранные» участием в «евразийском движении», да еще с таким «козырем», как встреча одного или нескольких руководителей движения с самим Пятаковым, — это была добыча и удача!

Упустить их было нелогично. Они даже слишком годились для очередного публичного разбирательства.

Естественно, что в этом случае возглавить «преступную группу» эмигрантов («засланных в СССР иностранными разведками и действовавших здесь в тесном сотрудничестве с недобитыми троцкистами») должен был бы именно Эфрон. Его организаторская роль, в том числе и в получении от советского посольства в Париже разрешений на въезд в Союз, достаточно обрисовалась в процессе всех допросов.

В пользу предположения говорит и тот факт, что испытанными средствами следствие последовательно расширяет на Сергея Яковлевича «изобличительный» материал. Так, с помощью П. Н. Толстого оно сочиняет связи Эфрона с кругом ленинградской интеллигенции, недовольной сталинским режимом и якобы замышлявшей террористический акт против вождя. У троих ленинградцев, арестованных по оговору Толстого (А. В. Введенского, Я. И. и А. Я. Стрелковых), выжимают «признания», подтверждающие эти преступные замыслы. Но, кроме замыслов, речь тут идет и о шпионских сведениях, якобы переправлявшихся Эфрону из Ленинграда в Париж через сотрудницу Ленинградского морского порта Т. В. Сланскую. Сама Сланская на допросах обвинение это отрицала как чистую фантазию Толстого.

Характер допросов Эфрона после февраля изменился. Кажется, что следствие к этому времени уже потеряло надежду получить желанный самооговор. Сценарий нового «показательного» процесса срывался, — во всяком случае, Эфрон явно не годился на роль чистосердечно кающегося главаря «банды эмигрантских шпионов и троцкистов».

Теперь Сергея Яковлевича спрашивают в основном о конкретных лицах. И называют одно за другим имена вернувшихся в СССР эмигрантов, требуя сведений об их антисоветских взглядах и действиях. Большинство уже арестовано, другие ждут той же участи.

Показания, которые дает Эфрон, максимально осторожны и неизменно доброжелательны. Это сугубо фактологические сведения: история знакомства, известные ему биографические данные. Причем при каждом удобном случае он подчеркивает просоветские настроения и самые чистые цели возвращения.

2 апреля ему предлагают перечислить всех, кого он лично завербовал для секретной работы в советских спецслужбах за рубежом. В ответе Эфрона приведен целый список — двадцать четыре фамилии, с конкретными датами привлечения их к сотрудничеству. Среди тех, кто оказался им привлечен в первую очередь, имена Константина Родзевича и его жены Марии Сергеевны, супругов Клепининых, Веры Сувчинской (будущей Трейл)\*\*, — все это в прошлом евразийцы и личные друзья Эфрона. Большинство из завербованных, указывает он, поддерживало связь с представителями советских органов через него, Эфрона, и только некоторые выходили на связь сами.

Названы в этом допросе и имена тех сотрудников НКВД в Париже, в чьем непосредственном подчинении находился он сам: это прежде всего Кислов, кроме того — Жданов, Азарьян, Г. И. Смирнов. Реальные то были фамилии или условные — сказать трудно.

— Сообщите, кого вы завербовали во французскую разведку, — спрашивает Эфрона лейтенант Копылов.

— Я никого и никогда ни в какую иностранную разведку не вербовал, — отвечает подследственный.

— Вы лжете. Следствие располагает достаточными материалами, опровергающими ваше утверждение…

Фиксированная часть допроса на этом обрывается.

В «деле» Эфрона, как уже говорилось, — восемнадцать допросов. Но можно быть уверенным, что на самом деле их было больше. И известно из сложившейся тогда практики, что протоколы составлялись далеко не всегда. Еще раз повторю и то, что самый добросовестный пересказ протоколов — да даже и полная их публикация! — реальной картины происходившего в застенках советских тюрем того времени не только не передаст, но можно даже сказать, что и прямо ее исказит. Ибо слишком важное и страшное остается «за кадром». Соблюдена видимость прямой трансляции, но изображение отсутствует, звук приглушен, мы слышим словно бы механический голос, читающий убогую выжимку сказанного там, по ту сторону экрана…

Последний восемнадцатый протокол имеет дату 5 июля 1940 года. 13 июля того же года помечено обвинительное заключение, утвержденное заместителем Военного прокурора СССР Афанасьевым.

Трудно найти ответ на вопрос: почему же еще целый год вслед за этим откладывалось вынесение приговора? Ибо он будет вынесен только 6 июля 1941 года, спустя три с лишним недели после начала Отечественной войны.

Работа на Лубянке, естественно, кипела и в сороковом — сорок первом, хотя и сбавила немного обороты.

Не искали ли замены Эфрону на роль лидера?

А если отказались от замысла — почему продолжали держать в Москве?

Весной 1941 года у Цветаевой затребовали вещи для мужа на этап. Они были переданы. Но зачем, почему вещи, если еще не был вынесен приговор? Многое неясно.

Ко дню суда я еще вернусь.\*\*

13

Из показаний Ариадны Эфрон несравненно труднее, чем из показаний Сергея Яковлевича, вычленить элементы правды. Ибо после злополучного допроса 27 сентября она принимает (как многие и многие, напомним, оказавшиеся в застенках всемогущего ведомства в тридцатые годы!) предложенный следствием путь «версии на выживание». И это вынуждает ее — как и других — густо смешивать реальность с фантазией, не только применительно к собственной биографии, но и в характеристиках тех лиц, о которых ее спрашивают. Не нам, умудренным всем, что мы теперь знаем, осуждать за это двадцатисемилетнюю молодую женщину. И все же скажу о впечатлении, которое складывается при внимательном чтении дела Ариадны.

Это впечатление можно свести к тому, что иллюзии, с которыми дочь Эфрона так сжилась в свои юные годы и которые заставили ее вернуться в Советскую Россию еще весной 1937 года, — раньше всех других членов семьи, — эти иллюзии не утратили над ней своей силы даже тогда, когда сама она оказалась в силках беспощадной машины следствия. Чара «великого эксперимента», по которому якобы идет ее родина на путях создания самого справедливого общества в мире, так долго созревала в ней вдали от предмета обожания, что освободиться от нее было нелегко.

Пример отца сыграл в этом, скорее всего, решающую роль. С младенческих лет он в ее глазах — образец рыцарства, мужества, благородства, почти отождествленный — еще в годы его участия в Белом движении — с образом святого Георгия, вышедшего на борьбу со злым змием. Образ этот возрос на культе отца, который царил в их доме, — и на поэтических строфах матери времен гражданской войны. Он сохранил свою силу и в эмиграции.

Дочь не могла не верить в то, во что верил ее отец; то был для нее больше чем авторитет истины, — авторитет чистого сердца. Аля была свидетелем его горения и бескорыстия, она воспитывалась на них — и явно считала себя сподвижницей отца.

Его секретное сотрудничество с советским представительством в Париже не было для нее тайной. Оно составляло предмет ее гордости — чувство, удержавшееся, я думаю, до конца жизни. Сотрудничество секретное — значит опасное, участие в опасном — если оно освящено высокой идеей — благородно. В величии же идеи, которой был движим отец, ей никогда не пришло в голову усомниться. И именно поэтому то, что происходило теперь, осенью 1939-го и весной 1940-го, представлялось ей ужасной, но частной ошибкой.

«Я не могла понять, кому и для чего это нужно, — писала А. С. Эфрон в заявлении, посланном из Туруханска 15 лет спустя на имя министра внутренних дел Круглова. — Только разоблачение Берии дало мне на это ответ…»

(Увы, в этих строках слышен голос вполне рядового человека тридцатых годов, так охотно хватавшегося за версии «вредительства». Хотя… Можно предположить и вполне сознательную спекуляцию «зэка» на разоблачении очередного врага…)

О разрушительном воздействии на мораль и психику современников культивируемого помешательства на «вредителях» говорят не часто. Между тем оно проросло болезненной подозрительностью, разъедающей человеческие связи.

Я вспоминаю об этом потому, что в иных текстах Ариадны Эфрон проступает то смещение ценностей, которое последовательно (и успешно!) внедрял в сознание и психику людей сталинизм. Кажется временами, что дочь Эфрона искренне убеждена, например, в реальной опасности советских людей, которые критикуют сегодняшний день страны.\*\*

Обращу снова внимание на одну существенную деталь, мимо которой может пройти читатель. С презрением, не требующим пояснений, мы произносим сегодня слова «агент ГПУ», «агент НКВД». Для нас они означают причастность к кровавым преступлениям зловещей организации — внутри страны и за рубежом.

Но в устах и Ариадны, и ее отца, в устах Афанасова, Клепининых и Эмилии Литауэр неизменно звучало другое слово: разведчик. И если мы хотим не просто заклеймить, но и попытаться понять трагедию эмигрантов, втянутых в сети «сотрудничества», нельзя это сбрасывать со счетов. Дабы не смешать воедино подлых и обманутых.

И извлечь какие-то уроки из истории можно только отказавшись от черно-белого восприятия мира и скоропалительных обличении. Ибо они есть тоже наследие большевизма.

14

Только 6 июля 1941 года Выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР в закрытом судебном заседании рассмотрит дело по обвинению Эфрона, Клепинина, Клепининой, Литауэр, Афанасова и Толстого. Председательствует военный юрист 1-го ранга Буканов.

Обвинение «считает установленным»: что обвиняемые участвовали в белогвардейской организации «Евразия», которая ставила своей задачей объединить вокруг себя все антисоветские элементы, находившиеся за границей и в СССР, и свергнуть в Советском Союзе существующий строй. Что «Евразия» вошла в сношения с разведками других иностранных государств, чтобы получить от них помощь для засылки в Советский Союз контрреволюционной литературы и эмиссаров. Что в 1929 году через Пятакова и Сокольникова «Евразия» установила связь с троцкистским подпольем и вкупе с троцкистами вела преступную деятельность. Наконец, члены организации вошли с преступной целью в доверие к органам НКВД, находившимся в Париже, дабы с их помощью проникнуть в СССР и вести там шпионскую и террористическую работу.

Только Клепинин и Литауэр признают свою вину в судебном заседании. Эфрон и Клепинина признают свое участие в «евразийской организации» и категорически отрицают обвинение в связях с иностранными разведками и шпионаже в их пользу. Толстой не признает за собой никакой вины и отказывается от всех показаний, данных на предварительном следствии. Решительно отрицает все предъявленные обвинения Афанасов.

Последнее слово Эфрона записано в протоколе судебного заседания следующим образом: «Я не был шпионом. Я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что, начиная с 1931 года, вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза…»

Приговор одинаков для всех шестерых обвиняемых: высшая мера наказания. С добавлением:

«Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

В следственном деле Эфрона под протоколом судебного заседания внизу страницы — карандашная пометка. Из нее следует, что приговор приведен в исполнение: в отношении Н. В. Афанасова — 27 июля, супругов Клепининых, Эмилии Литауэр и Толстого — 27 августа 1941 года.

Эфрон здесь не упомянут. Он был расстрелян позже всех других — 16 октября 1941 года. Эта дата внесена в дело Эфрона только 8 августа 1989 года; справка, подтверждающая эту дату, подписана начальником Центрального архива КГБ И.М. Денисенко.

15

И последнее. Поведение Эфрона в застенках НКВД позволяет понять отношение Марины Цветаевой к своему мужу, проявленное на допросах во французской полиции в октябре и ноябре 1937 года. В письме к Ариадне Берг, написанном в октябре, Цветаева приводит свой диалог со следователем о муже:

— Это самый честный, самый благородный, самый человечный человек.

— Но его доверие могло быть обмануто.

— Мое к нему — останется неизменным. В эти же дни Цветаева отсылает Ариадне Берг давнее свое стихотворение, посвященное мужу, поставив под ним две даты: «Коктебель, 3-го июня 1914 г. — Ванв, 1937 г.». Напомню одну из строф этого стихотворения. После всего, что ранее рассказано, она звучит особенным образом:

В его лице я Рыцарству верна

— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —

Такие — в роковые времена —

Слагают стансы — и идут на плаху.

Цветаева была уверена, — по крайней мере, пока она еще оставалась во Франции, — что Эфрон обвинен облыжно, несправедливо — и совсем не в том, в чем он мог быть виноват перед французским правительством. «Не верьте», — говорит она каждому, кто еще продолжает с ней встречаться.

Прекраснодушная доверчивость, нейтрализовавшая способность к независимым оценкам, стоила дорого — и самому Сергею Яковлевичу, и тем, кто пошел тем же путем. «Аполитичная» Цветаева уже в начале тридцатых годов считала, что увлеченность мужа «социалистическим строительством» на родине граничит с элементарной слепотой. В письме к Анне Тесковой от 16 октября 1932 года она писала: «С. Я. совсем ушел в Сов. Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что, хочет…»[20]

Но мужество и нравственная безукоризненность поведения Эфрона в застенках НКВД неоспоримы. Перед лицом пыток и смерти до последней своей минуты он остался человеком чести. Он не только никого не оговорил, но не позволил и себе самому уклониться от долга и правды, как он их понимал. Он последовательно отвергал ложь и не согласился участвовать в грязном спектакле, который ему предлагали. Одна эта стойкость не позволяет ставить его на одну доску с теми его «коллегами» по Учреждению, которые совершали преступления с холодным цинизмом людей, отлично знавших, кому и чему они на самом деле служат.

И уже другой вопрос, что высоких душевных качеств оказалось недостаточно, чтобы в иезуитских испытаниях, которые уготовили своему современнику тридцатые годы XX века, избежать липких сетей изощренной лжи.

Ядовитые софизмы о «пользе отечества» обманули не одного Эфрона. Они были отработаны незаурядными «ловцами душ» с площади Дзержинского в Москве как раз в расчете на людей чистых и готовых к самопожертвованию во имя высокой альтруистической идеи.

Увы, расчет оправдался. И число жертв этого расчета нам еще предстоит узнать.

ЕЛАБУГА

Любое самоубийство — тайна, замешанная на непереносимой боли. И редки случаи, — если они вообще существуют, — когда предсмертные записки или письма объясняют оставшимся подлинные причины, толкнувшие на непоправимый шаг. В лучшем случае известен конкретный внешний толчок, сыгравший роль спускового механизма. Но ключ к тайне мы не найдем в одних только внешних событиях. Он всегда на дне сердца, остановленного усилием собственной воли. Внешнему сопротивлению можно и сопротивляться — и поддаться, на всякое событие можно отреагировать так — или иначе; запасы сопротивляющегося духа могут быть истощены, а могут еще и собраться в решающем усилии. Душевное состояние самоубийцы в роковой момент — вот главное.

Но увидеть изнутри человека в этой предельной ситуации — задача почти невозможная. И тем более когда это касается личности столь незаурядной, как личность Марины Цветаевой.

Все это так. Оговорки необходимы.

А все же наш долг перед памятью великого поэта собрать воедино все подробности и обстоятельства, дабы полнее представить картину трагедии, последний акт которой разыгрался 31 августа 1941 года в маленьком городке Елабуге. Ибо есть в этой картине совсем непрописанные места. Оттого и гуляет так много версий гибели Цветаевой: каждая, по существу, есть попытка утолить беспокойство, которое возникает вокруг всякой тайны.

Что бы ни утверждали иные знатоки, пытающиеся поставить тут точку, всякий раз получается лишь запятая — или многоточие.

Загадка Елабуги остается; быть может, она останется навсегда.

Так не будем и делать вид, что тут все уже ясно. Хотя бы потому, что есть подозрение: если объявить «елабужский период» в биографии поэта проясненным, это может оказаться на руку тем, кто знает о нем больше, чем мы с вами.

Вот почему я вижу смысл в том, чтобы пристальнее вглядеться в последние дни Цветаевой. И обозначить неясности, сформулировать вопросы, на которые сегодня еще нет ответов. Тогда со временем они могут обнаружиться. Расчистим же для них место.

1

Все, кто встречался с Мариной Ивановной в те полтора месяца, которые отделили день ее отъезда с сыном в эвакуацию от начала войны, сходятся в утверждении, что состояние духа ее было крайне напряженным и подавленным.

Причин для этого было достаточно и до 22 июня. И все же нападение Германии и стремительное продвижение гитлеровских войск в глубь страны Цветаева, по свидетельству многих, восприняла как глобальную катастрофу с почти предрешенным исходом. Судьба Чехословакии и быстрое падение Франции оставались для нее незажившими ранами сердца. В Праге и Париже жили близкие ей люди и зримо стояли перед ее глазами места, где она радовалась и тосковала, мучилась над недающейся строкой и версту за верстой вышагивала по всем тропинкам и улочкам. Теперь все они — и знакомые лица, и холмистые предместья Праги, и уютные кривые переулки Медона — утонули в тени безумного фюрера.

Ей могло иногда казаться — с ее-то отношением к мифу как к закономерности бытия, проступающей сквозь быт! — что это ее саму неумолимо настигает цокот копыт того коня со Всадником, от которого некогда тщетно убегал бедный Евгений. Теперь этот цокот был слышен уже в Москве…

В середине июля 1941 года Цветаева проведет двенадцать дней за городом, вблизи Коломны, на даче у своих литературных друзей.

Но с 24-го она снова в Москве.

Уже начались налеты немецких бомбардировщиков на столицу, ежедневно ревут сирены воздушной тревоги; в домоуправлениях формируют отряды, дежурящие на крышах домов во время налетов, чтобы гасить зажигательные бомбы. Город неузнаваемо преобразился: окна домов перекрещены полосками из газетной бумаги, чтобы не вылетали стекла от воздушной волны при взрывах бомб. На многих перекрестках висят «тарелки»-громкоговорители, по вечерам в небо поднимаются громоздкие глыбы аэростатов.

В эти дни Цветаеву часто встречают в скверике перед «Домом Ростовых» на улице Воровского (бывшей Поварской), где разместилось правление Союза писателей. Тут некогда молодая Марина слушала вдохновенные речи Андрея Белого, выступавшего перед «ничевоками». А теперь здесь толкутся московские литераторы, жадно узнавая друг от друга новости — фронтовые и городские.

И настойчивым рефреном то в одной группе, то в другой звучит слово «эвакуация».

Первый эшелон московских литераторов и их семей отбыл из Москвы еще 6 июля. То есть в тот самый день, когда военная коллегия Верховного суда вынесла смертный приговор Сергею Эфрону.

Теперь составлялись списки тех, кто поедет следующим эшелоном. Ближайший уходил 27-го.

Цветаева спрашивает совета чуть ли не у каждого, с кем она хоть мало-мальски знакома: уезжать или оставаться?

А если уезжать, то куда? И с кем?

Ей был необходим спутник-поводырь даже в те далекие тихие дни, когда она приезжала из чешской деревни в Прагу по делам. Как же было не искать теперь кого-нибудь, с кем можно решиться на то страшное-неведомое, что называлось словом «эвакуация». Слишком хорошо она знала свою непригодность ко всем сферам практической жизни, где надо «устраиваться», хлопотать и добиваться.

Между тем в эти дни испытаний около нее нет человека, кто бы за нее мог решить и сделать, что нужно. «У меня нет друзей, а без них — гибель», — записывала Марина Ивановна в рабочую тетрадь еще в мае сорокового года. За год ситуация не изменилась.

Знакомых много. Но «многие» в таких ситуациях синоним «никого». Ибо нужен один — и совсем рядом.

Муру, правда, уже шестнадцать лет, он умен, начитан, но меньше всего пригоден к тому, чтобы стать опорой матери. И в этом она виновата сама, она не дает ему выйти из детства: опекает, как несмышленыша, запрещает, разрешает. И совершенно теряется, когда он своевольничает. А теперь еще он влюблен и слышать не хочет об отъезде. Вечерами гуляет со своей знакомой девятиклассницей, а во время налетов иногда дежурит на крыше.

Эти дежурства — чуть ли не главное, что заставляет Цветаеву торопиться с отъездом: она страшно боится за сына.

Да как же и не бояться? Боялась бы, если бы и вся семья была рядом.

Но теперь он остался у нее один.

Пастернак почти все время под Москвой, в Переделкине; Танечка Кванина, преданная, добрая, милая (Цветаева с ней сблизилась год назад в Голицыне), не появлялась уже больше месяца. Ей нельзя даже и позвонить: у нее нет телефона. Николай Вильмонт ушел в ополчение, Тарасенков на фронте с первой недели войны. Авторитет же новых знакомых в тех проблемах, какие теперь надо решать, для Цветаевой неубедителен. Она не слишком доверяет даже искренне преданному ей молодому поэту Ярополку Семенову — слишком случайно и внезапно он появился на ее горизонте. «Почему он ко мне так хорошо относится? — спрашивает она у Алиной подруги Нины Гордон. — А может быть, он из НКВД?[21]»

Нине Гордон, как и Самуилу Туревичу, Цветаева несомненно доверяет. Вместе с сестрой мужа Елизаветой Яковлевной это самые близкие ей люди. Но у них у всех свои беды, хлопоты, службы. Да еще и телефоны не работают как раз тогда, когда надо принимать быстрое решение.

Каждая бомбардировка заставляет ее испытывать настоящий ужас. «Я думала, что я храбрая, — говорит однажды Марина Ивановна Шур-Гельфанд, живущей в одной квартире с Лилей Эфрон, — а оказывается, я страшная трусиха, панически боюсь налетов…»

Соседка Цветаевой по квартире на Покровском бульваре — не та, которая враждовала с Мариной Ивановной, другая: Ида Шукст, тогда еще ученица десятого класса, дочь уехавшего на Север инженера, — вспоминала, как однажды во время воздушной тревоги она оказалась в бомбоубежище своего дома.

Рядом сидела Марина Ивановна — закаменевшая как изваяние, прямая, с руками словно приклеенными к коленям, с немигающим взглядом, устремленным перед собой. Ида совершенно не могла на нее смотреть, так было это тяжело, и постаралась больше не ходить в убежище вместе.

Но постоянное внутреннее напряжение было заметно в Цветаевой и в относительно спокойные дни. Она была как перетянутая струна, вспоминала И.Б.Шукст-Игнатова; опасно было любое неосторожное прикосновение. «Видно было, что она все время сдерживалась, нервное истощение ее было на пределе». И не было никакой разрядки этого напряжения.

К ней приходили, но нечасто. И во всяком случае, Ида не запомнила ни одной женщины. А значит, не с кем было хотя бы на время расслабиться, сбросить душевную тяжесть: «все было в себе, все за внутренней решеткой, и оттого нервный срыв был всегда рядом…»[22]

Цветаева с сыном уедет из Москвы 8 августа.

В самый канун отъезда она посетила Эренбурга, вернувшегося из Франции год назад. Достоверных сведений о том, как именно прошла последняя встреча этих людей, некогда связанных сердечной дружбой, у нас нет.

Есть не слишком достоверные.

О свидании рассказывает со слов Мура в своей книге «Париж-Гулаг-Париж» Дмитрий Сеземан. Других источников нет, и остается только надеяться, что хотя бы общая тональность этой встречи не искажена слишком сильно.

Сеземан пишет: «Марина стала Эренбурга горько упрекать: «Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает. Как мне прикажете быть?» Что же ей отвечал Эренбург? Мур мне это рассказывал на перроне Ташкентского вокзала, где часами стоял эшелон эвакуированного Московского университета. Рассказывал своим обычным ироническим, даже саркастическим тоном, далеким от какой бы то ни было моральной оценки… Так вот, Эренбург ответил Цветаевой так: «Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего…» Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его. «Вы негодяй», — сказала она и ушла, хлопнув дверью».

Всегда трудно верить в точность диалогов, которые воспроизводятся по памяти, да еще спустя несколько десятков лет, да еще через третье-четвертое лицо.

Встреча Эренбурга с Цветаевой уж наверное не исчерпывалась диалогом такого рода. Ибо если иметь в виду дату встречи, то ясно, что Марина Ивановна приходила уже не для упреков, а скорее всего с главным своим вопросом этих дней: эвакуироваться ли? И куда лучше? с кем? Но возможно, что она попыталась «задействовать» Илью Григорьевича в прояснении судьбы мужа. Ведь для Цветаевой оставалось неясным, где он теперь, как решилась его судьба. Решилась ли? Раз она уезжала из Москвы, было непонятно, как дальше можно будет узнавать о Сергее Яковлевиче.

О судебном заседании, вынесшем 6 июля смертный приговор Эфрону, по порядкам тех лет семье ничего не было сообщено.

Канун отъезда из Москвы описан в воспоминаниях Н. П. Гордон. Решение уезжать именно 8-го, с очередным писательским «эшелоном», выглядит в этих воспоминаниях внезапным, принятым впопыхах, в состоянии крайнего нервного возбуждения: «И вся она была как пружина — нервная, резкая, быстрая… Очень помню ее глаза в этот день (7 августа, в канун отъезда. — И. К.) — блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад, но тем не менее было ясно, что мысли ее заняты чем-то своим, другим»[23].

Из этого описания очевидно скорее другое: принимая решение ехать именно 8 августа, Цветаева не советовалась ни с Ниной Гордон, ни с мужем Али, несмотря на все к ним доверие!

Оба, придя к Марине Ивановне в этот канунный вечер, пытаются уговорить ее остаться, не спешить, хорошенько приготовиться и собраться, уехать она еще успеет. Цветаева как будто соглашается…

Но наутро все же уезжает.

А на пристань ее приходят проводить Пастернак, Лидия Либединская, Лев Бруни! Значит, Марина Ивановна нашла время позвонить им, известить? И отъезд не был таким уж внезапным, решенным прямо в ночь на 8-е. Известно, что ранним утром к дому на Покровском бульваре подъехал грузовик Литфонда, забиравший вещи отъезжавших. Запись на этот грузовик велась заранее…

Все это лишний раз дает почувствовать страшнейшее одиночество Цветаевой в час пиковых испытаний.

2

Итак, 8 августа — отплытие из Москвы, с речного вокзала, на пароходе «Александр Пирогов». В Казани пересадка на другой пароход, который пойдет по Каме. Уже в Елабуге Цветаева опустит в почтовый ящик открыточку, адресованную в Союз писателей Татарии. В открытке — просьба помочь перебраться в Казань из Елабуги; Союз писателей Татарии мог бы использовать ее как переводчицу. При этом Марина Ивановна упоминает, что у нее есть рекомендательное письмо директора Гослитиздата П. И. Чагина. Даже два его письма — и в Союз писателей, и в Татарское издательство! И эта деталь тоже не согласуется с версией о панически внезапном отъезде Цветаевой. Значит, и маршрут следования парохода она хорошо знала, и с Чагиным советовалась, и даже заручилась его поддержкой.

«Нервная, резкая, быстрая…» — пишет Гордон. Но на то были совершенно естественные причины: сборы, канун отъезда! Да и грубых слов сына было бы для этого достаточно, ведь Мур сопротивлялся отъезду до последнего момента…

Дорога в Елабугу заняла десять дней.

Долгий срок, если жизненное пространство ограничено территорией парохода. За это время. Цветаева перезнакомилась со многими писательскими женами. Некоторые из тех, с кем она успела сблизиться за время пути, сошли в Чистополе — городке, ставшем одним из центров эвакуации писательских семейств. Однако он был переполнен, и теперь московский Литфонд отправлял новые эшелоны дальше, в Елабугу. В Чистополе имели право сойти только те, у кого здесь уже жили родственники.

Обратим внимание всего на один эпизод дальнейшего пути Цветаевой.

На пароходе появилась новая пассажирка — о ней запишет в своем дневнике Мур. Это Флора Лейтес. Она уже несколько недель прожила в Чистополе и теперь едет в Берсут, что по дороге в Елабугу, дабы забрать оттуда писательских детей, отдыхавших в пионерлагере, и привезти их в тот же Чистополь. И вот почти всю, правда недолгую, дорогу до Берсута Флора проведет в беседе с Мариной Ивановной.

Беседа оказалась настолько сердечной и доверительной, что, расставаясь, Флора дала Цветаевой свой чистопольский адрес и обещала помощь, если Марина Ивановна решит добиваться перевода из Елабуги.

В Берсуте Флора сошла.

А у Цветаевой оставался отрезок пути до Елабуги, чтобы обдумать услышанное.

Флора решительно поддерживала мысль не оставаться в Елабуге. Ее информация о Чистополе была уже, что называется, из первых рук. И наверняка она рассказала о том, что в городе действует общественный совет эвакуированных при Союзе писателей и что он помогает приезжим в устройстве; что там живет не только поэт Николай Асеев, с которым Цветаева была чуть ли не дружна, но и семьи Пастернака, Сельвинского, Федина, Леонова, Тренева. Что в писательской среде Марине Ивановне все же будет легче, чем там, где она всем чужая…

Этот дорожный эпизод достаточно объясняет тот странный на первый взгляд факт, что уже на следующий день после прибытия в Елабугу Цветаева отправляет телеграмму Флоре с просьбой начать хлопоты. Решение, похоже, было принято еще на подъезде к Елабуге.

Мария Белкина в своей книге предлагает другое объяснение — она считает, что Цветаеву испугал сам вид маленького захолустного городка: «сраженная Елабугой», пишет Белкина, Марина Ивановна поспешила дать телеграмму[24].

Впрочем, одно не исключает другого, скорее дополняет.

Но ничто не мешает нам предложить и еще одно объяснение этой поспешности.

Мистическое.

Настаивать на нем я не буду. Но для меня вполне реально предположить, что в состоянии того крайнего внутреннего напряжения, которое не оставляло Цветаеву уже несколько недель подряд, она могла ощутить, едва ступив на елабужскую землю, толчок в сердце.

Необъяснимый толчок страха. Может быть, и больше — ужаса.

Ибо она ступила на землю, в которой тело ее, спустя всего две недели, будет погребено…

Итак, 17 августа пароход причалил к Елабуге. 18-го отправлена телеграмма Флоре Лейтес.

Я впервые увидела Елабугу спустя более чем полвека после той трагической осени. С 1951 года город сильно разросся: в его окрестностях были обнаружены нефтяные месторождения. В восточной части Елабуги появился совсем новый район, застроенный стандартными домами. Но старый центр хорошо сохранил свой облик, — конечно, с поправками на неизбежные вкрапления и архитектурные новшества советских лет. Их, слава Богу, немного. Посреди центральной площади и до сих пор возвышается монумент величественного Ильича; продолжают носить советские имена улицы Ленина и Дзержинского, есть и Коммунистическая. Но одна из центральных улиц недавно все же получила старое имя — Казанской; только на дальнем ее конце еще не успели сменить вывески: долгие годы подряд это была улица Карла Маркса.

Центр старого города можно не спеша обойти за час-другой. Все дома, которые я здесь искала, оказывались рядом — чуть подальше или чуть поближе: здание Библиотечного училища, где поначалу разместили москвичей, приехавших вместе с Цветаевой; здание бывшего горсовета, где эвакуированным помогали отыскать жилье и работу; здание детской библиотеки, куда, как я узнала, Марина Ивановна приходила два или три раза…

На двух-трех центральных улицах старого города можно увидеть уютные двухэтажные каменные особнячки, любовно, со вкусом выстроенные в прошлом веке елабужскими купцами и заводчиками. Но сделайте два шага от старого центра — и вот уже царство одноэтажных бревенчатых домов, иногда обшитых ярко выкрашенной вагонкой, иногда украшенных резными наличниками на окнах и причудливой резьбой на воротах. Повсюду за заборами — отяжелевшие ветви яблонь: я приехала как раз в августе — только что отошел «яблочный Спас». Хозяйки торговали яблоками чуть ли не у каждого магазина, расположившись совсем по-домашнему на лавочках и приступочках.

Впрочем, в ту осень, когда сюда приехала Цветаева, урожая яблок, вспоминают старики, совсем не было — чуть ли не все яблони в предыдущую («финскую») зиму повымерзли.

Не было тогда и асфальта на улицах. В осеннюю непогоду туфли вязли в грязи, ходить можно было только в сапогах…

Улочка, на которой стоит дом с мемориальной доской, напоминающей, что именно здесь жила в августе 1941 года Марина Цветаева, тоже обрела старое имя. Теперь она уже не Ворошилова, как тогда, в годы войны, и не Жданова, как это было позднее, — она называется Малой Покровской. С Покровского бульвара в Москве — на Малую Покровскую в Елабугу!

Но не прошло, видно, бесследно переименование. Не укрыл, не охранил Покров Божьей Матери. И не так уж случайно, наверное, что и на этой улочке, как раз в той ее части, которая примыкает к восстановленному теперь Покровскому храму, еще можно увидеть крепкие, будто недавно подновленные таблички: «улица Жданова».

Прошлое, как репейник, цепляется за прежние опоры.

Между тем у Елабуги есть своя славная и древняя история, ни в каких названиях теперь уже не отраженная, — ее любовно записал в 1870 году отец знаменитого русского живописца Иван Васильевич Шишкин, дважды избиравшийся елабужским городским головой.

Тут бывал еще до нашей эры персидский царь Дарий I, а в Х веке расцвело на три столетия Булгарское государство. В начале ХIII-го разрушительно прошлись по здешним местам войска Тамерлана. Позже, уже в конце XVIII столетия, побывали здесь и Пугачев со своими дружинами, и Радищев, возвращавшийся из сибирской ссылки в Петербург. А в прошлом веке жила знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. В ее честь в городе воздвигнут памятник, как и в честь Шишкина-живописца. Елабуга, пожалуй, равно гордится обоими Шишкиными — отцом и сыном, как и своими просвещенными талантливыми купцами, имевшими торговые связи аж с далеким заморьем.

Теперь чтут здесь и память Марины Цветаевой. Дом, в котором она жила, все еще в частном владении, но ежегодно в конце августа в городе проходят «цветаевские чтения». На кладбище служат панихиду, читают стихи. Однако от простых елабужан доводилось мне слышать и не слишком доброжелательные слова: «опозорила город…», «другие приезжие жили, и ничего, а тут, Елабуга виновата — не помогли…» Обычно это голоса стариков, обиженных, что нынче все знают Елабугу прежде всего как место трагической кончины великого поэта.

3

На сегодняшний день существуют три главных версии самоубийства Марины Цветаевой.

Первая принята сестрой Анастасией Цветаевой — и тиражирована в многократных переизданиях ее «Воспоминаний». Согласно этой версии, Марина Цветаева ушла из жизни, спасая или, по крайней мере, облегчая жизнь своего сына. Убедившись, что сама уже не может ему помочь, более того, — мешает прилипшей репутацией «белогвардейки», она принимает роковое решение, лелея надежду, что Муру без нее скорее помогут. Особенно если она уйдет так.

Другая версия наиболее аргументирована Марией Белкиной. С одной стороны, считает она, к уходу из жизни Цветаева была внутренне давно готова, о чем свидетельствуют множество ее стихотворений и дневниковые записи. Но Белкина вносит еще один мотив; он не назван прямо — и все же проведен с достаточным нажимом. Это мотив душевного нездоровья Цветаевой, обострившегося с начала войны. Белкина опирается при этом на личные свои впечатления, личные встречи — и в этом как плюсы, так и минусы ее свидетельства. «Она там уже, в Москве, потеряла волю, — читаем мы в книге «Скрещение судеб», — не могла ни на что решиться, поддавалась влиянию любого, она не была уже самоуправляема… И внешне она уже изменилась там в Москве, когда я ее увидела в дни бомбежек; она осунулась, постарела, была, как я уже говорила, крайне растерянной, и глаза блуждали, и папироса в руке подрагивала…»[25]

В этом свете последний шаг Цветаевой предстает как закономерный, неотвратимый. Это шаг больного человека…

Наконец, в последние годы появилась третья версия гибели поэта.

В ней роковая роль отводится елабужским органам НКВД.

Автор версии — Кирилл Хенкин, высказавший ее на страницах своей книги «Охотник вверх ногами», изданной первоначально во Франкфурте-на-Майне в 1980 году, а теперь и у нас.

В Москве эта книга, написанная на автобиографическом материале, появилась в восьмидесятых годах. Как и другая продукция «тамиздата», она ходила в кругах диссидентских и околодиссидентских, и заполучить ее в руки мне, наезжавшей в столицу из Ленинграда всегда на короткое время, долго не удавалось. Но эпизод из книги, касающийся Цветаевой, достаточно подробно пересказал мне мой московский друг Лев Левицкий. В пересказе эпизод показался малоправдоподобным. В частности, еще и потому, что слишком уж он вписывался в модное поветрие: искать везде и всюду руку НКВД. Тем более что аргументации, насколько я поняла, не было никакой. Сведения покоились на авторитете некоего Маклярского. Его имя мне тогда ни о чем не говорило. Как и имя самого Хенкина.

В спецхранах ленинградских и московских библиотек «Охотника…» не оказалось, и прошло немало лет, пока я смогла сама прочесть книгу.

Сюжет, который мне пересказывали, занял там всего шесть небольших страничек; я прочла их, и они снова показались мне легковесными.

Сама авторская стилистика разрушала возможность чрезмерного доверия. Ибо Хенкин избрал манеру полубеллетристическую, он постоянно домысливал мотивацию поступков — за чекиста, за Цветаеву, за Пастернака, за Асеева. И что ни фраза — мимо! Либо очевидное упрощение, оглупление — как личности, так и обстоятельств, — либо натяжка, либо незнание фактов. Процитирую наиболее значимый отрывок:

«Но я еще тогда (зимой 1941 года. — И. К.) узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью.

Историю эту я слышал от Маклярского. ‹…›

Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил «помогать».

Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа — значит, в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные. Начнутся разговоры, которые позволят всегда «выявить врагов», то есть состряпать дело. А может быть, пришло в Елабугу «дело» семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с «органами». Не знаю. ‹…›

Ей предложили доносительство.

Она ждала, что Асеев и Фадеев вместе с ней возмутятся, оградят от гнусных предложений. ‹…› Боясь за себя, боясь, что, сославшись на них, Марина их погубит, Асеев с Фадеевым сказали (или кто-то один из них сказал, — может, быть, и Асеев — боясь Фадеева) самое невинное, что могли в таких обстоятельствах сказать люди их положения. А именно: что каждый сам должен решать — сотрудничать ему или не сотрудничать с «органами», что это ‹…› дело политической зрелости и патриотизма»[26].

Что и говорить, такой вариант никому до тех пор не приходил в голову.

Однако, как выяснилось, Фадеева тогда в Чистополе не было; соображение, кто кого боялся и «что могли сказать», звучало уж по крайней мере неубедительно.

Когда достоверное столь растворено в домысле, делать с ним нечего. Таким свидетельством, в сущности, можно было бы и пренебречь. Но слишком важного момента оно касается…

Так или иначе, перед нами — третья версия, перед которой прежние тускнеют и отступают на задний план.

Версия представлялась мне шаткой со многих точек зрения.

Казалось, как можно было зимой 1941 года в Москве узнать о том, что произошло в далекой Елабуге в сильно засекреченном ведомстве за семью замками?

И кто это в то время так уж интересовался в столице судьбой Цветаевой, кроме самого узкого круга людей, ее лично знавших? Ведь репутацию великого поэта она обрела только сорок лет спустя…

Однако со временем, когда конкретнее обрисовался облик обоих участников того зимнего разговора, мои сомнения стали терять прочность.

Вновь появившиеся мемуары и документы подтвердили близость Хенкина к семье Цветаевой еще во Франции. Кирилл и Ариадна (почти сверстники), в самом деле, дружили и даже переписывались, когда Аля уже уехала в Москву. А в дневнике Мура, как выяснилось, зафиксировано известие о приезде Хенкиных в СССР (запись 28 февраля 1941 года). В одном из недавно обнаруженных писем Ариадны Эфрон оказалась характеристика Е.А. Нелидовой-Хенкиной (матери автора книги) как человека, хорошо знакомого с подробностями тайной работы Сергея Эфрона в советской разведке. А из того же «Охотника…» нам теперь известно, что сам автор книги как раз «с подачи» Эфрона в конце концов влился в ряды сотрудников НКВД.

Зимой сорок первого года Хенкин уже служил в Четвертом управлении. И непосредственным его начальником был не кто иной, как Михаил Борисович Маклярский!

Круг специфических интересов полковника госбезопасности Маклярского включал именно деятелей советской литературы и искусства — в предвоенные и военные годы. Позже, когда война закончилась, на первый план выступила (и нашла отражение в советской киноэнциклопедии) другая сторона талантов полковника. В миру он стал сценаристом. Фильмы по сценариям с его участием широко известны: «Подвиг разведчика» (1947), «Секретная миссия» (1950), «Заговор послов» (1966) и другие, той же направленности. А в 1960 году он возглавил Высшие сценарные курсы… И теперь еще многие москвичи из кругов кинолитературных хорошо помнят Михаила Борисовича (он умер в 1978 году) и даже утверждают, что прямые его связи с НКВД — КГБ были широко известны.

Но если таков был род занятий Маклярского, то он, конечно, не мог не знать о недавно вернувшейся из эмиграции поэтессе, у которой к тому же были арестованы к началу войны и сестра, и муж, и дочь!

И известие о ее трагической кончине не могло не дойти до него по вполне естественным каналам. Ибо Цветаева оказывалась, таким образом, в кругу его «подопечных».

Взятое в совокупности, все это уже не оставляет возможности биографу поэта игнорировать версию Хенкина как вольный домысел на модную тему.

Между тем до сих пор эта версия никем из исследователей всерьез не рассмотрена — в лучшем случае она мельком упоминается. Не потому ли, что проверить, подтвердить ее каким-то документом или, по крайней мере, дополнительным свидетельством затруднительно?

Поиски досье на Цветаеву упираются в глухую стену. По логике вещей, его не могло не быть. Однако елабужское НКВД отвечает, что архивы военного времени надо искать в Казани. Казань отрицает: у них ничего нет. Москва ссылается на Казань — ответы, впрочем, туманные.

Отчаявшись найти концы, я пытаюсь узнать у людей осведомленных — сотрудников архива КГБ: если бы все же досье нашлось, можно ли быть уверенным, что в нем сохранились следы вербовки, то бишь «приглашения к сотрудничеству»?

Оказывается, совсем необязательно. Особенно если согласие вербуемого не было получено. Зачем оставлять следы плохой работы?…

И так мы оказываемся наедине с возможностью либо доверять, либо не доверять рассказу Хенкина.

Но ведь остается еще и вероятность выдумки со стороны Маклярского! — Ну, скажем, чтобы придать себе веса осведомленностью в глазах низшего чина. Остается и возможность простого «предположения» полковника, воспринятого Хенкиным как достоверная информация.

Однако по существу своему ничего невероятного в высказанной версии тоже нет! В органах существовал свой производственный план по вербовке сексотов среди населения; это называлось «профилактической работой».

И чтобы «беседовать» с Цветаевой в означенном духе, елабужским чекистам не нужно было даже ждать прибытия ведомственной почты с личными досье. Несомненно, что все необходимое пересылалось отделом кадров Союза писателей и в Чистополь и в Елабугу прямо с кем-то из приехавших.

Представим.

В елабужском НКВД царит тоска и провинциальная плесень. И вдруг такая удача: прибывает бывшая белоэмигрантка (именно этот термин бытовал в те годы!), у которой «сидит» вся семья. И муж воевал в Белой армии. И имеется сын — единственный из семьи, оставшийся рядом.

Такая уязвимость — находка. Широкий простор для увещеваний, угроз и шантажа.

Мне приходилось, правда, слышать возражения: да зачем она была им нужна? За кем следить? На кого доносить? Что могла сообщить полезного?

Но Учреждение, о котором идет речь, никогда не вписывалось в пределы разумности и логики. А значит, ответов может быть множество. И «производственный план». И прямое указание из Москвы. И любопытство. И желание припугнуть, лишний раз получая удовольствие от сознания вседозволенности. И просто: почему бы нет? Биография уж очень подходящая.

Наше затруднение не в подборе подходящих мотивов.

Оно — в роковой обреченности на отсутствие документальных доказательств. Единственное, что остается добросовестному биографу, — иметь в виду реальную возможность этой версии. И соотносить с ней уже известные факты — как и новые свидетельства.

Это я и попробую сделать.

4

В хронике последних двенадцати дней жизни Марины Цветаевой (от высадки на пристани «Елабуга» до трагического дня 31 августа) далеко не все прояснено. Даже в превосходной книге Белкиной, опирающейся на множество собранных свидетельств, остаются еще противоречия и недосказанности. Некоторые Белкина отмечает сама; правда, слишком мельком. И вот пример.

На что жить, когда кончатся вывезенные из Москвы съестные припасы и будут проедены взятые с собой вещи? Где и как зарабатывать? Это, кажется, одна из главнейших точек беспокойства Цветаевой, мучившего ее уже на пароходе, до прибытия в Елабугу.

Однако по приезде, если верить письму-воспоминанию Т. С. Сикорской (приведенному Белкиной), Марина Цветаева идти в горсовет и искать работу отказывалась: «Не умею работать. Если поступлю — сейчас же все перепутаю. Ничего не понимаю в канцелярии, все перепутаю со страху». «Ее особенно пугала, — продолжает Сикорская, — мысль об анкетах, которые придется заполнять на службе…»[27]

Но этому утверждению противоречат сведения, которыми мы располагаем сегодня.

Цветаева искала работу в Елабуге, и весьма энергично!

По свидетельству хозяйки дома А. И. Бродельщиковой, Марины Ивановны почти никогда не было дома. Известно вместе с тем, что не один раз она заходила в районный отдел народного образования. Предлагала свои услуги в Педагогическом институте. Два или три раза была в елабужской детской библиотеке на Тойминской улице. Но книг там не брала, сына с собой не приводила и всякий раз уединялась с заведующей библиотекой в ее кабинете — не для того ли, чтобы узнать о возможности устроиться на работу?

Конечно, ей приходилось постоянно подавлять страх, едва дело доходило до предъявления паспорта и заполнения анкет. Кое-где, видимо, до этого дело дошло. Иначе почему же в городке знали о том, что она приехала из-за границы? И что муж ее был в Белой армии? Уж конечно, сама она об этом без необходимости не распространялась…

В одном месте ей сразу отказывали, в другом она отказывалась сама, узнав условия и характер работы и понимая, что не справится. Свою непригодность к «чистой» канцелярской работе она действительно знала еще со времен гражданской войны, когда в 1919 году ей пришлось несколько месяцев прослужить в Комитете по делам национальностей. Она рассказала об этом в мемуарном очерке «Мои службы». И еще она знала, что совершенно неспособна быть, скажем, воспитательницей в детском саду. Это тоже не требует пояснений — достаточно вспомнить стрессовое состояние Марины Ивановны в эти недели.

Но вот противоречие в чистом виде.

Сикорская пишет: «Все уговоры пойти в горсовет не помогли…»

Между тем в дневнике Мура есть запись о том, что Цветаева в горсовете была.

Может быть, это означает только то, что Цветаева не пошла туда вместе с Сикорской? Пошла одна, без нее?

Это возможно. Хотя в прежние времена она всегда кого-нибудь просила, чтобы ее сопровождали, тем более в незнакомом городе…

Это не все.

Запись Мура в книге Белкиной не приведена полностью. Между тем запись странная и важная. Увы, и я знаю ее лишь в выписке, выжимке. Вполне достоверной, впрочем. И одна деталь там крайне настораживает. В записи сына Цветаевой сказано, что в этот день (20 августа) Марина Ивановна была в горсовете и работы там для нее нет, кроме места переводчицы с немецкого в НКВД.

Нота бене!

В первый и последний раз аббревиатура НКВД появилась в елабужском дневнике Мура!

Мельком, без пояснений.

Место переводчицы — ведь это предел мечтаний Цветаевой. Решение всех проблем! Чего тогда еще искать! И зачем?

Но вот в чем странность: в горсовете не могли предлагать работу в НКВД! Это просто исключено. Подбор кадров для себя это серьезное Учреждение никому и никогда не доверяло.

В сегодняшней Елабуге мне удалось найти женщину, которая как раз в годы войны такую работу получила: она была переводчицей с немецкого в елабужском лагере для военнопленных. Лагерь возник в начале 1942 года, и вполне вероятно, что осенью сорок первого к его открытию уже начинали готовиться, подбирали штат. Но Тамару Михайловну Гребенщикову, с которой я беседовала, направили на эту работу специальным распоряжением НКВД Татарии! Она это помнит твердо. И подтверждает: горсовет не имел никакого отношения к подбору сотрудников такого рода…

Что же остается предположить?

Ведь и отмахнуться нельзя от этой странной записи: перед нами не воспоминание, отделенное от упоминаемых событий большим или меньшим временем, когда что-то может сместиться в памяти. Мур делает запись в тот же день!

Не была ли Цветаева утром этого дня в другом месте? Вовсе не в горсовете, а в елабужском НКВД? Не потому ли и пошла она туда без сопровождающих?

Но зачем? По вызову? Так быстро сработавшему? Ведь группа из московского Литфонда прибыла в Елабугу всего два дня назад! Они еще даже не расселены по квартирам и живут все вместе в помещении Библиотечного училища.

Такая оперативность кажется маловероятной: не по-советски. Хотя и не исключено.

А не могла ли Цветаева пойти в Учреждение по собственной инициативе, без всякого вызова?

Например, потому, что она все еще ничего не знала о судьбе мужа. В мае из НКВД затребовали для него вещи; естественно было предположить, что Сергея Яковлевича готовят, наконец, к отправке по этапу. А где он теперь? Если отправлен, — необходимо, во-первых, узнать его адрес для писем и посылок, во-вторых, сообщить свой собственный — новый, елабужский.

С другой стороны, идти добровольно в то самое Учреждение, когда ее все полтора года не отпускал страх ареста…Да, но ведь в Москве она ходила в тюрьмы! И даже четырежды в месяц — с передачами и за справками.

Но вот еще возможное объяснение.

В те не столь уж давние годы сотрудники Учреждения имели обыкновение ловко маскироваться: нужного человека вызывали в отделение милиции, например, — или в райсовет, горсовет, а то и просто в жилищную контору, под самым невинным предлогом. По поводу прописки, например. А там, уединившись в особой комнате, они вели свои пугающие разговоры.

Тогда, может быть, действительно Цветаеву вызвали в горсовет, но беседовал там с ней самый настоящий «хам-чекист».

Сказала ли Цветаева сыну всю правду об этом разговоре?

Вряд ли. И особенно если в самом деле там предложили «сотрудничество» — в обмен за помощь в устройстве на работу.

А если бы даже Марина Ивановна сказала сыну всю правду, естествен вопрос, стал ли бы он записывать ее — черным по белому — в свой дневник? Сомнительно. Он уже достаточно осознал к этому времени, в какой стране он очутился.

Я, впрочем, думаю, что рассказано это не было. Иначе как-нибудь просочилось бы позже, — например, через такого близкого Муру человека, как Дмитрий Сеземан. Можно было бы догадаться и по каким-то подробностям, интонациям, характеру записей и писем Мура. Мне не удалось, однако, найти в них ни малейшей зацепки для такого рода предположений. Но сама по себе запись в дневнике Мура крайне важна: при всей ее невнятности она неожиданно подкрепляет версию Хенкина.

5

Моя поездка в Елабугу осенью 1993 года осторожные предположения превратила почти в полную уверенность.

Начну с того, что в разговоре со мной теперешний начальник Елабужского КГБ Баталов и старший оперуполномоченный капитан Тунгусков, когда я напрямую задала им свои вопросы, высказались однозначно: «беседа» такого рода с Цветаевой в том далеком августе представляется им более чем реальной.

Нет, документальных подтверждений в их распоряжении нет.

Но практика того времени такому предположению совершенно не противоречит.

А разве, спросила я, анкетные данные Цветаевой не исключают ее из числа возможных «сотрудников», пусть даже и секретных? Ведь естественнее, кажется, за ней самой наблюдать, а не поручать ей, чтобы она следила за другими?

Насколько я поняла из ответа, то и другое вполне совместимо.

Еще более весомыми оказались воспоминания старых елабужан. Правда, и они чаще всего говорили об общей практике тех лет, о царившей в городе атмосфере, а не о случае с Цветаевой. Но когда бывшая учительница математики, работавшая в одной из известных школ города, рассказывала мне о том, как елабужское НКВД пыталось вербовать ее в сексоты, я слушала ее историю отнюдь не как сторонний материал.

Анну Николаевну Замореву настоятельно призывали последить за другим учителем, приехавшим в начале войны из Бологого, — Германом Францевичем Диком. Рекомендовали записывать, с кем он общается, что именно говорит… Рассказала Анна Николаевна и о том, как умели мстить за отказ, непокорство.

Нет сомнения, что то был не единичный случай в Елабуге. Провинциальный городок нашпигован был стукачами не хуже городов столичных. Шквал арестов сильнее всего прошелся здесь в те же годы — в тридцать седьмом-тридцать восьмом. Лучшие люди города один за другим исчезали тогда в лагерях ГУЛАГа. Немногие вернувшиеся шепотом рассказывали — и только самым близким — о том, что увидели и пережили в тюрьмах и лагерях.

Но нашлись и те, кому довелось-таки видеть и запомнить саму Марину Ивановну и ее сына.

Таких, правда, оказалось уже немного, и рассказы их были отрывочны и лаконичны.

Больше всего меня поразил один повтор, тем более достоверный, что слышала я его от разных людей, не знавших друг друга.

Тамара Петровна Головастикова, тогда совсем молоденькая, увидела Цветаеву посреди базара. Что это именно она, сообразила много лет спустя, когда ей в руки попалась книга с портретом Марины Ивановны: «Чувство было совершенно отчетливое: это ее я тогда видела!»

А запомнила она эту необычную женщину потому, что нельзя было не обратить на нее внимания: стоя посреди уличного базара в каком-то жакетике, из-под которого виден был фартук, она сердито разговаривала с красивым подростком-сыном по-французски. Тамара Петровна знает немного немецкий и говорит, что французский она легко отличает от других языков. Женщина курила, и жест, каким она сбрасывала пепел, тоже запомнился — он показался Тамаре Петровне странно красивым. А у нее был глаз на такие подробности: она готовилась тогда в артистки. Сын отвечал женщине тоже сердито, на том же языке; потом побежал куда-то, видимо по просьбе матери. Пара была ни на кого не похожа. Потому надолго и запомнилась.

А еще необычным было лицо этой женщины: будто вырезанное из кости и предельно измученное. Такое, будто у нее только что случилось большое горе.

Вот этот повтор: лицо измученное!

Будто сговорились.

Вспоминали разные подробности — одежду ее, суровость, с какой проходила она мимо молоденькой библиотекарши в кабинет заведующей. И всякий раз неукоснительно: «Лицо у нее такое было… будто сожженное… замученное».

Еще более неожиданны в облике Цветаевой — волосы, совсем убранные со лба и спрятанные под берет, а то и под платок, повязанный как у монашенки. И еще — очки! Сначала эти подробности заставляли меня думать: это не о ней. Перепутали с кем-то. Но и в другом рассказе повторилась, и в третьем, тогда уж точно о ней. Очки упоминались и в записях тех, кто беседовал с Бродельщиковыми.

Платок — в рассказе юной тогда библиотекарши, которая знала имя посетительницы…

Другой елабужский старожил засвидетельствовал личное знакомство — уже не с Мариной Цветаевой, а с инструкцией, ее непосредственно касавшейся.

Мой собеседник Николай Владимирович Леонтьев хорошо помнил содержание этой инструкции. В ней давалась характеристика Цветаевой, а также жесткие указания, какие меры следует предпринимать, дабы оберечь граждан города от вредоносного влияния самой памяти о пребывании Цветаевой в городе Елабуге. Знал эту инструкцию Леонтьев по долгу службы, ибо в елабужском горкоме партии был «вторым секретарем», то есть возглавлял отдел пропаганды и агитации, — кажется, так это тогда называлось… Не во время войны, а вскоре после ее окончания. Однако инструкция — это совершенно ясно — сохранила дух, нисколько не изменившийся с того времени, как в Елабугу прибыла 17 августа 1941 года великая русская поэтесса.

— Кем был составлен этот циркуляр, — задаю я наивный вопрос Николаю Владимировичу, — елабужскими властями или казанскими?

Реакция в ответ почти сожалеющая: настолько ничего не понимать!

Но когда мой собеседник начинает излагать суть инструкции, наивность моя испаряется: такого елабужским властям было просто не придумать.

Характеристику, без сомнения, составляли в самых высших компетентных органах, то бишь в московском НКВД. Она представляла Цветаеву как «матерого врага советской власти» (именно эти слова!). Как человека не только настроенного против советского строя, но и активно боровшегося с этим строем еще там, «за кордоном». Печаталась в белогвардейских журналах и газетах. Входила в белогвардейские организации… И так далее в том же духе.

Короче, человек не только чуждый социалистическому обществу, но и очень опасный.

Леонтьев не хотел ничего прибавлять из того, о чем он узнал уже позже. Так, он решительно утверждал, что в том циркуляре ничего не было сказано о муже Цветаевой. Видимо, для «захолустной» Елабуги излишние сведения были не нужны: ведь сам Эфрон здесь появиться не мог…

Через руки моего собеседника прошли многие циркуляры тех лет: он помнит списки книг, подлежавших уничтожению во всех библиотеках города, включая самые маленькие; помнит инструкции о портретах членов Политбюро — какие следовало, а какие не следовало нести на первомайской демонстрации…

К моим встречам и беседам добавила достоверные факты публикация, появившаяся в журнале «Родина».

Ее автору удалось-таки познакомиться с досье другого гостя Елабуги — С. Я. Лемешева. Прославленный певец появился в городе спустя несколько месяцев после гибели Цветаевой и провел здесь два месяца, с конца мая по июль 1942 года. Документы, обнародованные А. Литвиным, доказательно опровергали представление о российской глубинке как о месте, где легко было схорониться от настойчивых преследований Учреждения. Выяснилось, что прямо вслед за Лемешевым и его женой из Москвы в Казань, а из Казани в Елабугу на имя старшего лейтенанта ГБ Козунова, начальника отделения НКВД в городе, последовал циркуляр. Он предписывал установить неусыпный контроль за каждым шагом знаменитого тенора и его жены, ибо они «разрабатывались» (так принято выражаться на языке НКВД) как предполагаемые шпионы.

Описание содержимого досье производит сильное впечатление. Оно заполнено сведениями о вербовке соседей Лемешева, знакомых его знакомых, а также усердными донесениями тех и других. Лемешеву заботливо поставляют партнеров для преферанса, егерей и напарников для любимой охоты, — а он, скорее всего, и не подозревает, что все они старательно запоминают каждое его слово, чтобы сообщить затем — куда надо.

Какой же проступок повлек за собой столь энергичные действия «органов»? Оказывается, всего-навсего… — немецкая фамилия жены певца!

Сведения, связанные с именем Цветаевой, должны были насторожить куда сильнее…

Но вернемся к хронологии дальнейших дней в Елабуге.

На следующий же день после визита в «горсовет» Марина Ивановна и Мур поселяются в доме Бродельщиковых на улице Ворошилова. Это одноэтажный бревенчатый дом, каких множество в Елабуге.

За помощь «свыше» принять это никак нельзя, настолько жалка крошечная комнатка, в которой поселяются мать и сын. В комнатке всего метров шесть; перегородка, отделяющая ее от хозяйской горницы, не доходит до потолка, вместо двери — занавеска. Согласиться на это убожество можно было разве что от невыносимой усталости — или при уверенности, что жить здесь придется совсем недолго.

Еще день спустя, то есть 22-го, в том же дневнике Мура запись: решено, что Цветаева поедет в Чистополь.

Одна, без вещей и сына.

Цель поездки обозначена коротко: ответа от Флоры Лейтес все еще нет и необходимо разузнать, можно ли туда, в Чистополь, переехать.

Мотивы понятные. Единственная опять-таки странность — в спешке. Прошло всего три дня после отправления телеграммы! Идет всего лишь пятый день пребывания в Елабуге!

Почему не подождать ответа еще немного?

Но 24-го Цветаева уже отплывает на пароходе в Чистополь.

Задержимся, однако, в Елабуге еще на некоторое время…

Спустя полвека после гибели Цветаевой на вечере, посвященном ее памяти, в 1991 году, неожиданно обнаружился еще один очевидец тех давних лет. Он назвал себя Алексеем Ивановичем Сизовым. В начале войны молодым пареньком он преподавал физкультуру и военное дело в елабужском Педагогическом институте. И встретил однажды, в конце лета 1941 года — занятия еще не начинались, — во дворе института женщину с усталым, измученным лицом. Она спросила его, местный ли он, и, услышав утвердительный ответ, попросила помочь найти комнату — для нее и ее сына.

Сизов понял, что перед ним эвакуированная, и посоветовал обратиться в горсовет — там занимались расселением приехавших. Но женщина ответила: «У нас уже есть комната, но я бы хотела переехать. С хозяйкой мы не поладили…»

Узнав, где именно поселилась приезжая и кто ее хозяйка, Сизов, подумал про себя, что с Анастасией Ивановной Бродельщиковой и в самом деле поладить непросто — характер у нее жесткий. Алексей Иванович это знал, потому что не раз рыбачил с ее мужем и в дом к ним был вхож.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что женщина — писательница.

И тут Сизов вспомнил, что уже слышал о ней. Она приходила в институт устраиваться на работу. Только биография у нее была неподходящая: из белоэмигрантов. «Чуждый элемент» — так тогда говорили. И ее не взяли, хотя места были.

Алексей Иванович стал расспрашивать женщину, не она ли была за границей и с кем она там встречалась из писателей, наших и французских. Они поговорили немного. Сизов — даром что военрук — с молодых лет был пожирателем книг, запойным книгочеем. Перед литературой и литераторами он благоговел… В конце концов Сизов обещал поискать жилье[28].

— Откуда вы узнали, — спросила я у Алексея Ивановича, встретившись с ним теперь, в августе девяносто третьего, — что она из-за границы приехала? Не сама же она об этом говорила?

— Конечно, нет. Но я слышал, как о ней судачили в нашей канцелярии после ее прихода.

Бродельщикова при встрече подтвердила Сизову, что хотела бы других постояльцев, не этих. «Пайка у них нет, — объяснила она Алексею Ивановичу, — да еще приходят эти, с Набережной (то есть из НКВД. — В Елабуге Управление НКВД расположено на улице, которая так и называется: «Набережная». — И. К.), бумаги ее смотрят, когда ее нет, и меня спрашивают, кто ходит к ней да о чем говорят… Одно беспокойство… Я и сказала, чтобы они другую комнату искали».

Эта подробность в воспоминаниях Сизова мне показалась сначала сомнительной: не придумана ли уже теперь, по модным выкройкам времени, такая прыткость чинов «с Набережной»?

Однако после елабужских встреч и воспоминаний все выглядело уже иначе. Чего проще, в самом деле, самих хозяев дома сделать осведомителями, вовсе и не прибегая к такому настораживающему термину!

Через день-другой военрук нашел для Марины Ивановны комнату на улице Ленина, около татарского кладбища, — там жило одно знакомое ему семейство.

И он даже отвел туда Цветаеву и оставил — для переговоров, а сам ушел. Дела были, рассказывал Сизов, стоял август, он на молотилке в эти дни работал на окраине Елабуги. Еще прошло дня два-три. (Эти сроки: «день-другой», «дня два-три», конечно, хуже всего помнятся спустя полвека; между тем дней-то у Цветаевой в Елабуге было считанное число! Да еще посредине поездка в Чистополь. Когда же начался этот сюжет с Сизовым? Если он был, — а по-видимому, все же был, — то возникнуть должен был еще до поездки. И продолжиться по возвращении Цветаевой из Чистополя.)

Итак, спустя время вахтер Пединститута передал Алексею Ивановичу записку. Там было написано крупным почерком Цветаевой: «Алексей Иванович, хозяйка, у которой мы были, мне отказала». Отправившись на улицу Ленина, Сизов застал там въехавших других постояльцев. Объяснение хозяев было простое: «У твоей ни пайка, ни дров. Да она еще и белогвардейка. А эти мне вот печь переложить взялись…»

«Белогвардейка», «чуждый элемент», «из-за границы приехала» — это была, кстати говоря, та мета, по которой сразу вспоминали Цветаеву, не путая ее с другими, и елабужцы и эвакуированные (здесь жившие еще до прибытия «писательской группы»). Она одна была здесь такая «крапленая».

Молодого и любопытного Сизова это притягивало, людей постарше сильно отпугивало. Она была «другая», непохожая, «не наша». Причина для провинции вполне достаточная, чтобы вызвать недружелюбное чувство.

— Да что за дело хозяйкам-то, — спрашиваю я Сизова, — как будут перебиваться жильцы — с пайками или без, не все ли им равно?

Оказалось, что совсем не все равно. По заведенному порядку принято было, чтобы постояльцы приглашали хозяев к ежевечернему чаю, угощали.

То есть, говорит Сизов, приезжие должны были, по сути дела, делиться пайком.

И кроме того, у кого был паек, тому горсовет и дрова давал. А ведь зима уже была не за горами…

Но почему же тогда Цветаева оказалась без пайка? Просто не успели еще оформить — или обошли? Этого мне узнать не удалось. Между тем для самочувствия Цветаевой обстоятельство это наверняка было весьма значимым.

Я еще вернусь к сизовскому сюжету, пока отмечу лишь, что, во всяком случае, он вносит поправки в воспоминания тех, кто успел побывать в Елабуге при жизни Бродельщиковых и поговорить с ними о Марине Цветаевой. В этих воспоминаниях хозяева дома, где Марина Цветаева прожила последние дни своей жизни, выглядят очень благообразно. Симпатичные, милые, добрые, «с врожденно благородной нелюбовью к сплетне, копанию в чужих делах» (В. Швейцер)[29]…

Правда, в иных зафиксированных интонациях хозяйки можно все-таки расслышать затаенную обиду: уж очень была приезжая молчалива, о себе ничего не рассказывала.

А это для российского простого человека — «гордыня».

«Только курит и молчит» — даже сидя рядом с хозяйкой на крылечке дома.

Впрочем, одну фразу, как раз на крылечке-то и произнесенную, Бродельщикова запомнила — для нас очень важную. Мимо дома вечерами маршировали красноармейцы, проходившие в городе военную подготовку. И у Цветаевой однажды срывается: «Такие победные песни поют, а он все идет и идет…»

6

В день отъезда Марины Цветаевой в Чистополь Мур записывает о матери в свою тетрадь: «Настроение у нее отвратительное, самое пессимистическое».

В версии Кирилла Хенкина эта поездка выступает важным звеном. Хенкин убежден, что Цветаева поехала в Чистополь прежде всего «за сочувствием и помощью», напуганная елабужскими органами. Отметим, кстати, что если и в самом деле «горсовет» — это как бы эвфемизм НКВД, дата «собеседования» — 20 августа — вполне согласуется с тем, что Хенкину говорил Маклярский: «Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД…» — и т. д.

Тогда выстраивается следующая цепочка событий: 17 августа — приезд в Елабугу, 20-го — «беседа» в НКВД, через день — запись Мура о решении матери ехать в Чистополь, 24-го — отъезд. Психологически в этом варианте стремительный отъезд из Елабуги более чем закономерен. В этой ситуации оказаться одному, особенно для человека нервно измученного так, как уже была измучена Цветаева, — катастрофа. Необходим кто-нибудь свой, близкий, не из новых знакомых, как бы симпатичны они ни были, а из давних, прежних, надежных, знающих все особенности твоей ситуации без объяснений. И для Цветаевой естественно было подумать прежде всего о Николае Николаевиче Асееве.

Он — в Чистополе, и он — не рядовой и бесправный, не мелкая сошка, а знаменитый поэт, один из самых весомых членов правления писательского союза. У него авторитет и связи, с ним не могут не считаться.

Я не думаю, что Цветаева действительно надеялась (как иронически пишет Хенкин) на активную «защиту». Вряд ли настолько она была наивна. Ей нужны были поддержка, совет. Что делать? Как себя дальше вести? Ибо если предположить встречу с «уполномоченным», то известно, в каком тоне они разговаривали; обещания помощи быстро сменялись угрозами — в случае отказа или даже колебаний.

Согласитесь сотрудничать с нами — и с жильем поможем, и вот вам работа переводчика, о которой вы мечтаете. Нет? Ну, так вас никуда не возьмут… И значит, вы не хотите подумать о судьбе сына?…

Практика известная, стандартная, и если уж допускать возможность такого «сюжета», надо просмотреть его до конца.

Самое простое (хотя и действительно наивное), что в этом случае могло прийти в голову, — это быстро уехать из Елабуги. Оказаться поблизости от Асеева, от писательских организаций — в том кругу, где она не чувствовала бы себя иголкой, затерянной в стогу сена.

Всю свою жизнь сторонившаяся объединений и группировок, всегда стоявшая вне, она теперь вынуждена искать спасения в принадлежности хоть к какому-то братству…

Между тем в ее отношениях с Асеевым не существовало особенной теплоты. Правда, как раз весной сорок первого года возникло какое-то подобие дружбы. Достаточно внешней — хотя бы потому, что Цветаеву активно не любила жена Асеева.

Мне пришлось с ней однажды разговаривать, и она предупредила сразу, что ничего хорошего о Марине Ивановне сказать не сможет.

Да, Цветаева бывала у них в Москве, и не однажды. «И проходила мимо меня, как мимо мебели, едва кивнув. Она хотела говорить только с Асеевым, остальные ее не интересовали…» Никакой скидки на трагичность жизненных обстоятельств Цветаевой в то время жена Асеева делать не умела и не хотела. Даже наоборот: эти обстоятельства должны были скорее усилить ее неприязнь.

Ибо она принадлежала к тому кругу «сливок» советского общества, где удерживались только умевшие отворачиваться от несчастий остального мира.

Сын Цветаевой скрытых подтекстов, по-видимому, не улавливал. 3 июня 1941 года он так писал своей сестре: «В последние два-три месяца мы сдружились с Асеевым, который получил Сталинскую премию за поэму «Маяковский начинается». Он — простой и симпатичный человек. Мы довольно часто у него бываем — он очень ценит и уважает маму»[30].

Цветаева пробыла в Чистополе два дня — 25 и 26 августа. 27 утром она уже снова была на той же пристани и ближайшим рейсом вернулась в Елабугу.

Наверняка к Асееву она отправилась сразу же, едва узнав его адрес.

Но вот об этой-то чуть ли не самой главной чистопольской встрече мы почти ничего и не знаем!

Знаем ряд обстоятельств вокруг — но не больше.

Известно, что дня за два-три до прибытия Марины Ивановны вопрос о возможности ее переезда из Елабуги уже обсуждался на заседании совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя. Так что ей не придется даже искать жилье.

И Асеев согласился вынести вопрос на заседание.

Однако там резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Тренев. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об «иждивенческих настроениях» недавней белоэмигрантки. (Пьеса Тренева «Любовь Яровая» шла в это время во многих театрах страны, неплохо подкармливая своего автора.)

А Асеев не стал защищать интересы Цветаевой. Может быть, побоялся спорить с треневской аргументацией («муж — белогвардеец, сама — белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен…»).

Может быть, берег и свое спокойствие: окажись Цветаева совсем рядом, труднее было бы увильнуть от дальнейших забот и хлопот о ней…

Расстроенная Флора совсем было уж собралась телеграммой сообщить неутешительный результат заседания Марине Цветаевой, но прямо на почтамте ее отговорила от этого случайно оказавшаяся рядом Лидия Чуковская.

— Такую телеграмму отправлять нельзя, — сказала она Флоре. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии.

— Так что же, по-вашему, делать? — спросила Флора.

Настаивать! Хлопотать! Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывают здесь?[31]

состоявшемся заседании Цветаева узнала, уже приехав в Чистополь. От самого ли Асеева или от Флоры? Неизвестно. Да это и не имеет значения.

Во всяком случае, у Асеева она побывала.

И, глядя в глаза Марине Ивановне, поэт устыдился.

Под предлогом плохого самочувствия — у него было обострение туберкулеза — он сам не пошел на новое заседание, но, видимо, именно его хлопотами уже на следующий день после приезда Марины Ивановны в Чистополь правление опять рассматривало тот же вопрос. Асеев переслал от себя письмо — и теперь оно было в поддержку просьбы Цветаевой.

(Жена Асеева утверждала спустя много лет, что Николай Николаевич просто процитировал в своем «послании» текст из известного рассказа Льва Толстого «Люцерн» — о том, что художника надо уметь ценить еще при жизни. Если так, то это был, по-видимому, следующий текст: «Вот она, странная судьба поэзии. ‹…› Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям…»)

Была ли Марина Ивановна у Асеева только однажды?

Какой именно оказалась эта встреча?

Какие темы обсуждались, помимо разрешения на прописку?

И — что особенно важно! — оставались ли они наедине, без Оксаны Михайловны, дабы можно было обсудить темы щепетильные?

Ничего достоверного об этом мы не знаем. Уверенно можно сказать только две вещи. Одна та, что никакого заряда бодрости Асеев Цветаевой, во всяком случае, не прибавил. Серьезной поддержки ни в чем не обещал, чистопольскую ситуацию не приукрасил.

А весьма похоже, и запугал — невозможностью найти литературную работу. Это было в общем-то неправдой: литераторы, осевшие в Чистополе, и с лекциями выступали перед рабоче-крестьянской аудиторией, и литературные вечера устраивали, и в газетах местных и дальних стихи печатали, и в редакции местного радиовещания подрабатывали. Но и то верно, что все это было не для Цветаевой. Фантазии не хватит представить ее разъезжающей с лекциями или приносящей злободневные стихи в редакцию чистопольской газеты.

Только в ноябре появится в Чистополе Константин Федин в роли уполномоченного правления Союза советских писателей. Жизнь эвакуированных получит несколько более защищенный статус…

Цветаева могла убедиться, что письмо в адрес правления — это асеевский максимум. И только на него он был способен.

Но с другой стороны, можно быть уверенным и в том, что ни упреков, ни претензий Цветаева при встрече не выразила. Иначе стало бы невозможным ее предсмертное письмо, «завещавшее» Асееву хлопоты о сыне.

Чистопольские ночи Цветаева проводит в здании педагогического училища, превращенного в общежитие эвакуированных.

С 25-го на 26-е ночует в комнате Валерии Навашиной (тогда она была женой Паустовского). С 26-го на 27-е — в комнате, где жила Жанна Гаузнер, дочь поэтессы Веры Инбер. Марина Ивановна немного знала ее по Парижу.

Тут все друг друга знали — и, значит, знали опыт всех вокруг. За два дня было достаточно возможностей собрать информацию о Чистополе. Пугали ли Цветаеву трудностями — или же, наоборот, ободряли, обещали помочь, вселяли надежду? Чужой опыт все равно примеряется на себя с трудом; сколько людей, столько оценок и мнений.

Но похоже на то, что минусов здесь Марина Ивановна увидела гораздо больше, чем ожидала.

7

Мертвенную застылость отмечают в облике чистопольской Цветаевой почти все. В воспоминаниях Флоры Лейтес, приведенных Белкиной, Марине Ивановне трудно было смотреть в глаза — такой безысходностью был полон ее взгляд. Почти слово в слово то же повторяла в устном рассказе и Татьяна Алексеевна Евтеева-Шнейдер. С Лидией Чуковской Цветаеву знакомят на улице; Марина Ивановна произносит при этом приветливые слова. Но они, как пишет Л. К. Чуковская в мемуарном очерке «Предсмертие», «не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонаций»[32].

И другой литератор, Петр Семынин (тот же очерк Чуковской) называет безжизненно «механическим» голос Цветаевой, повторявший как бы заранее заученные фразы.

26 августа, на второй день пребывания Марины Ивановны в Чистополе, Чуковская находит ее в коридоре горсовета, напротив комнаты с табличкой «Парткабинет».

«Прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, — Марина Ивановна.

— Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!»

За ведомственной дверью в эти минуты повторно обсуждался вопрос о возможности поселения Цветаевой в Чистополе.

Саму Марину Ивановну там уже выслушали, теперь она удалена в коридор и ждет решения.

«Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Брошусь в Каму»[33].

Отметим: эти минуты перед дверью парткабинета в глазах самой Цветаевой — роковые. Решение, которое будет вынесено, определит — ни больше, ни меньше — вопрос, оставаться ли ей дольше на этом свете.

— Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Туг хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.

Я напомнила ей, — продолжает Чуковская, — что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторила она. — А в Елабуге я боюсь.

Вскоре выйдет из дверей парткабинета Вера Васильевна Смирнова и сообщит, что дело решилось благоприятно. Цветаева может хоть сейчас идти подыскивать себе жилье — это не слишком сложно, и как только его найдет, все будет окончательно подписано, она может переезжать.

Смирнова возвращается в комнату заседаний, Чуковская с Цветаевой выходят из здания горсовета на площадь.

«И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

— А стоит ли искать? Все равно не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

— Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работать. Мне не на что будет жить»[34].

Отметим еще одно: «мне не дадут работать». Она могла бы сказать: «я не найду», но говорит: «не дадут». А ведь только что решилось то, что она сама назвала судьбой! И решилось лучшим образом: можно не откладывая переезжать в Чистополь, где ее знают и вот ведь — поддерживают! — где Асеев и какая-никакая защита организованного братства эвакуированных.

Но Чуковская замечает: в ее спутнице — ни проблеска радости.

Едва исчезло препятствие, казавшееся непреодолимым, как на его месте вырастает — и разрастается — другое, тут же гасящее облегчение.

Чувство безысходности не рассеялось.

Вместо того, чтобы уже свершиться, казнь продлена.

И значит, нужны новые усилия.

Чуковская соглашается вместе идти искать жилье, так как Марина Ивановна совсем не ориентируется в незнакомых местах.

По дороге возникает разговор, чрезвычайно важный для уяснения душевного состояния Цветаевой.

(Напомню здесь читателю, что «Предсмертие» написано на материале личного дневника, который Чуковская вела многие годы своей жизни подряд, в том числе и в Чистополе. Присоединим к этому особый авторитет этого автора, щепетильно и педантично приверженного правде, никогда не разукрашенной придуманными подробностями.

Все это придает в наших глазах неоценимую важность именно ее свидетельству о встрече с Цветаевой за несколько дней до трагического события.)

«— Скажите, пожалуйста, — тут она приостановилась, остановив и меня, — скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?

— Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж, во всяком случае, все равно — как и где. Но у меня дочка.

— Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

— Что — все? — спросила я.

— Вообще — все! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!

— Немцы?

— Да, и немцы»[35].

Остановимся еще раз, чтобы расслышать это: «и немцы».

Я переспрашивала Лидию Корнеевну об этих фразах. Так они ей помнятся, так записаны тогда, так звучали в ушах: «И немцы», «Ну, например, Россия». Из чего достаточно ясно, что не в одних только немцах и даже не только в России дело.

Рискну досказать.

В глазах Цветаевой происходящая вокруг катастрофа превышает кошмар войны. Надвигается, поглощая и Россию, бедствие глобального масштаба. Темные силы мира воплотились в «нелюдей», в их руках — абсолютная власть и сила, безжалостная к человеку. Туча гитлеровской армии, поглощающая русские земли, — только один из ликов торжествующего зла…

Мне кажется, именно об этом — не о меньшем! — говорит Марина Ивановна 26 августа 1941 года, за четыре дня до своей гибели.

Говорит единственному человеку, встреченному после отъезда из Москвы, в котором она угадывает сразу ту редкую породу людей, к которой принадлежит сама. Она говорит, наконец, собственным голосом, без оглядки.

Потому что это ее масштаб оценок, всегда присущий ей взгляд на происходящее — «с крыши мира», как назвала она это в одном из своих стихотворений.

Еще в те дни, когда чуть ли не в одночасье фашистские войска поглотили Чехословакию, Цветаева выразила трагедийное мироощущение современника в поэтическом слове. Строки «Стихов к Чехии» потрясают редкостной мощью личного чувства, соединенного с даром укрупненного видения вещей и событий:

Отказываюсь — быть.

В Бедламе нелюдей

Отказываюсь — жить.

С волками площадей

Отказываюсь — выть.

С акулами равнин

Отказываюсь плыть —

Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр

Ушных, ни вещих глаз.

На твой безумный мир

Ответ один — отказ.

А ведь то была всего лишь весна 1939 года!

Правда, уже пробили удары колокола в судьбе самой Цветаевой.

Год назад уехала из Франции в Москву ее дочь; полгода назад тайно, спасаясь от полиции, бежал туда же муж. Когда осенью тридцать девятого и мужа, и дочь арестовали, Цветаева воспринимала скорее как ошибку и странный недосмотр собственную свободу. И свободу тех, с кем она еще встречалась.

Трагедийное напряжение эпохи властно вошло внутрь ее собственного дома еще в начале тридцатых годов, когда Эфрон подал прошение о возврате на родину.

Между тем Марина Ивановна начисто лишена была спасительного свойства обыкновенных людей — приспособляться к непереносимому: хлопотать, обустраиваться, выживать — хотя бы и у подножия вулкана. Она пыталась что-то делать и даже иногда проявляла неожиданную предусмотрительность (вроде писем Чагина, например, вывезенных из Москвы).

Но она не могла стать другой, если бы и хотела. Она не могла перестать слышать то, что слышала. Ощущать и переживать все — с безмерной, разрывающей сердце остротой, — так, как ощущала и переживала всю свою жизнь.

«В Вас ударяют все молнии, а Вы должны жить…» — писала она Борису Пастернаку[36] семнадцать лет назад, почти что в другой жизни. К красотам метафор ради самих красот она не прибегала никогда. Тем более обращаясь к собрату по призванию. Этими словами она говорит о том, что было ему знакомо не хуже, чем ей: о природе истинного поэта. Можно быть уверенным, — наоборот, что подбирала она наиболее точные выражения, чтобы он сразу мог узнать это состояние.

В вас ударяют все молнии. А вы должны жить…

Так, во всяком случае, было с ней самой.

Но если уже весной тридцать девятого она столь внятно слышала поступь гибели и так непереносимо было для нее переживание невольной сопричастности к предательству, подлости и насилию, разлившимся в мире, — что же теперь?

Пепел погибших стучал в ее сердце, равно как и страдания тех, кто еще только был обречен, приуготовлен на муку и смерть. Мир стремительно поглощала черная тень побеждающего морока, захватившего весь горизонт.

Временами она ощущала это с такой явственной силой, что, очнувшись, готова была приписать болезни. «Я тяжело больна, — написала она в предсмертной записке спустя всего четыре дня, — это уже не я…» Это, однако, не означало ничего другого, кроме того, о чем она уже говорила Борису Леонидовичу в том давнем письме, почти двадцать лет назад (а потом еще и в эссе «Искусство при свете совести»): поэт пропускает через себя все стихии, в него ударяют все молнии — и отразить их он может только своим творчеством.

Но если творчество совсем ушло из жизни…

8

Чуковская приводит Марину Ивановну к своим новым друзьям Шнейдерам. Лидия Корнеевна и сама познакомилась с ними совсем недавно, по дороге в Чистополь. Нежданную гостью встречают с теплым радушием. Выясняется, что здесь знают и любят ее стихи и искренне рады ей самой. После чая и разговоров Цветаева читает «Тоску по родине».

Тоска по родине! Давно

Разоблаченная морока

Мне совершенно всё равно —

Где совершенно-одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошелкою базарной

В дом и не знающий, что — мой,

Как госпиталь, или казарма.

И дальше:

Остолбеневши, как бревно,

Оставшееся, от аллеи —

Мне все — равны, мне всё — равно,

И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.

Все признаки с меня, все меты,

Все даты — как рукой сняло:

Душа, родившаяся — где-то.

Как должна была прозвучать тогда эта предпоследняя строфа:

Так край меня не уберег

Мой, что и самый зоркий сыщик —

Вдоль всей души, всей — поперек!

Родимого пятна не сыщет!

Но она не дочитывает стихотворение до конца, обрывает раньше. И звучит в нем теперь лишь отречение, полное горечи, сплошная боль оставленности, — без намека на смягчение сердца нежностью к родной земле. Пронзительно оборванной последней фразы:

Но если по дороге — куст

Встает, особенно — рябина…

в доме Шнейдеров не прозвучит.

Ее просят прочесть «Стихи к Блоку». Она отмахивается: «старье!» Она хочет читать только то, что и сегодня еще звучит в душе. Ни Шнейдеры, ни Чуковская не знают ее таланта в расцвете, все их восхищение — перед той, молодой, почти что начинающей, от которой она так давно и далеко ушла.

И Марина Ивановна обещает попозже, этим же вечером, непременно прочесть «Поэму воздуха».

Кажется, она немного отстранилась от ужаса, который носит в себе. Попав в живую атмосферу милого дома, она распрямляется. Чуковская пишет: «Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. <…> С каждой минутой она становилась моложе…»[37]

Четыре дня отделили это чаепитие у Шнейдеров от рокового дня в Елабуге.

Я спрашивала у Лидии Корнеевны: а как же версия о психическом надломе, почти что душевной болезни? В ответ Чуковская энергично протестует. Подавленность, бесконечная усталость, с трудом заглушаемое отчаяние — да, это было. Но когда она говорила, от нее исходила энергия как бы даже вопреки смыслу произносимых ею слов. Конечно, у нее были на исходе силы, душевные и физические, — но это совсем другой вопрос.

И этим же вечером она собиралась прочесть наизусть «Поэму воздуха» — одно из самых сложных своих произведений…

Итак, после благоприятного решения чистопольских властей Марина Ивановна проводит несколько часов в баюкающей дружеской обстановке. Ее выслушивают с неподдельным интересом, о чем бы она ни заговорила. Ей предлагают конкретную помощь: обед и ночлег сегодня, а завтра — совместные поиски жилья. И Цветаева, конечно, чувствует, что этим людям можно довериться, хотя еще несколько часов назад она их не знала…

Но потом она спохватилась.

Оказывается, у нее назначена встреча.

С кем? Где?

По воспоминаниям Чуковской, Марина Ивановна сказала Шнейдерам (сама Лидия Корнеевна в это время ненадолго ушла), что ее ждут в гостинице. Но в устном рассказе Татьяны Алексеевны, спустя несколько десятилетий, звучал иной вариант: Цветаева будто бы сказала, что пойдет к Асееву. И вернется обратно к восьми часам.

Но не вернулась.

Слово «гостиница» может насторожить. В те давние времена свидания в гостиницах любили назначать чиновники из «органов».

В данном случае, однако, в это не верится.

В Чистополь Цветаева только что приехала. Это было в принципе, конечно, возможно: разыскать ее здесь и назначить официальное свидание. Но зачем? В Елабуге ее «достать» было несравненно проще…

Скорее всего гостиницей Марина Ивановна назвала то самое общежитие, где она ночевала.

И там она действительно появилась, но уже поздним вечером, усталая, измученная. Еще подробность (разысканная Белкиной): у нее сильно болели ноги. Согрели воду, и в комнате, где жила Жанна Гаузнер и семья Натальи Соколовой, Марина Ивановна сидела на скамеечке, опустив ноги в таз и низко, склонив голову…

Где она была в промежутке? Почему так устала? Отчего не вернулась к Шнейдерам?

В последнем, впрочем, нет ничего особенно странного: не для того она покинула в Елабуге сына (с которым впервые в России была в разлуке), чтобы читать стихи и вести общие разговоры в милом интеллигентном семействе.

Существует и другая версия той же встречи на квартире Шнейдеров. Ее записал в 1965 году со слов Татьяны Алексеевны, ставшей к тому времени женой Паустовского, Л.А. Левицкий. В этом рассказе есть некоторые новые оттенки, — и я перескажу в главных чертах эту запись.

Услышав фамилию женщины, которую привела Чуковская, Татьяна Алексеевна от неожиданности не сразу поняла, что перед ней та самая Цветаева, стихи которой она давно знала и любила. Одежда гостьи показалась ей убогой: выцветшая кофта, старая юбка. Говорила она поначалу путано, мысль ее скакала. Потом пришел Михаил Яковлевич Шнейдер и неожиданно заговорил с Мариной Ивановной сухим, жестким, чуть ли не глумливым тоном. Цветаева съежилась, Татьяна Алексеевна прикрикнула на мужа, и потом тот говорил уже мягче.

Но беседа не клеилась. Сели обедать. Понемногу Марина Ивановна оттаивала. После обеда она настояла на том, чтобы помочь хозяйке дома вымыть посуду. Выражение ее глаз поразило Татьяну Алексеевну, — это были мертвые глаза, глаза человека, о котором говорят: «Он не жилец на свете»…

Подробности этого воспоминания позволяют объяснить, почему к концу того чистопольского дня Цветаева предпочла переночевать не в относительно благополучном доме Шнейдеров, а в литфондовском общежитии…

9

Возможно, и в самом деле Марина Ивановна еще раз зашла к Асееву. Это выглядело бы естественно: прийти, чтобы поблагодарить и сообщить о результативности его, асеевского, заступничества. И теперь, когда главное препятствие уже устранено, поговорить, скажем, о возможностях заработка в Чистополе.

Или — о том, другом… Если все-таки существовал предмет этого другого. Может быть, накануне такой разговор не получился и она надеялась, что теперь обстоятельства будут более благоприятны?

И не потому ли еще оставалась в ней безысходность, что та тень продолжала висеть?

Но этого мы не знаем и не узнаем, по-видимому, уже никогда. Если только Николай Николаевич не поделился воспоминаниями с кем-либо вне своего семейного круга. Тогда тема может когда-нибудь возникнуть, утратив уже, правда, почти всю свою достоверность.

С достоверностью известно другое: дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна до конца своей жизни белела при упоминании имени Асеева.

В письме ее к Пастернаку от 1 октября 1956 года мы находим беспощадные строки: «Эти имена, — пишет она об именах Цветаевой и Асеева, — соединимы только, как имена Каина и Авеля, Моцарта и Сальери. <…> Для меня Асеев — не поэт, не человек, не враг, не предатель — он убийца, а это убийство — похуже Дантесова»[38].

Резкость суждений и категоричность оценок — черта, увы, характерная для дочери Цветаевой. Но занять объективную позицию в таком вопросе, как самоубийство матери, — нелегко.

Дочь знала подробности последних дней Марины Ивановны, с одной стороны, из дневника брата (с которым она, расставшись в августе 1939 года, так больше и не увиделась: к моменту ее освобождения из лагерей Георгий был убит на войне). С другой стороны, Ариадна Сергеевна сообщала в письме к В.Н. Орлову двадцать четыре года спустя после гибели матери (31 августа 1965 года): «В короткий перерыв между лагерями и ссылкой я успела связаться с людьми, бывшими в то время в Елабуге, и записала с их слов то, что они тогда — всего 6 лет спустя — хорошо помнили»[39].

Помнили, как нам теперь ясно, все же не слишком хорошо, несмотря на небольшой срок, отделивший воспоминания от трагического события 1941 года. В рассказах, которые записала дочь Цветаевой, очевидны многие огрехи памяти вспоминавших.

Что касается роли Асеева в те дни. Здесь существенно то, на чем сходятся почти все, кто жил тогда в Чистополе: после известия о гибели Цветаевой именно его молва винила в равнодушии и черствости. Не помог, не ободрил, не уговорил…

Но ведь помог? По крайней мере, с получением права на переезд?..

Однако память москвичей, живших в то время в Чистополе, удержала в облике лауреата Сталинской премии черты сибаритства и скаредности. Возможно, способствовала такой репутации супруга поэта, но Асееву не прощали многого. Того, например, что приехавшего отца он поселил отдельно от себя, в какой-то захудалой комнатушке, и кормился тот в плохой литфондовской столовой. А сын нес жирных гусей с базара. И Оксана Михайловна закупала там же мед, — да не стопочками и стаканчиками, как те, кому он нужен был для больных, а огромными банками, которые не удавалось спрятать в кошелке. «Наши Гусеевы отоварились», — шутили им вдогонку ехидные и всегда полуголодные москвички.

Асеев знал об отношении к нему дочери Цветаевой и ее непримиримом непрощении. Известно теперь и другое: Николай Николаевич сам в глубине собственного сердца не прощал себе вины перед Мариной Ивановной.

Знать бы, какой именно…

Он не был закоренелым злодеем, он был только равнодушен в те дни и труслив. И еще: он очень не любил раздражать свою властную, лишенную всяких сантиментов жену.

Этих качеств оказалось достаточно, чтобы Цветаева отчетливо ощутила пустоту в последней точке надежды. Пустоту — вместо опоры.

Рассказ Надежды Павлович, приведенный в книге Белкиной, подтверждает, что у Асеева совесть была перед Мариной Ивановной нечиста.

Павлович случайно встретилась с Николаем Николаевичем (незадолго до его смерти) в латышском местечке Дзинтари. Она увидела его в маленькой церквушке неподалеку от писательского Дома творчества. Он молился и плакал, стоя на коленях. А потом сам признался Павлович в том, что его так мучило: он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват…

Так, без всяких иных подробностей, передала смысл его покаяния Павлович в 1979 году, стоя уже сама на пороге смерти. Но в признании Асеева скорее всего подробностей и не было…

Итак, последний ночлег Цветаевой в Чистополе — в том же общежитии. Утром 27 августа она уже снова на пристани.

Пристани Камы в годы войны… То было страшное место. На пароходах везли с фронта раненых — в госпитали Сарапула и Перми. Стоянки непредсказуемо затягивались, и тогда тяжелораненых выносили на плащпалатках на берег. Те, кто мог держаться на ногах, выбирались сами, часто покинув койки в одном нижнем белье, — они пытались купить на берегу водку и папиросы.

Надеясь отыскать своих, ушедших воевать, к пристани сбегались местные женщины, — и их вопли и рыдания долгим эхом отзывались в сердце. Строем шли к пристани новобранцы, — чтобы уплыть в обратную сторону, — и провожал их тот же раздирающий душу бабий неумолчный стон.

На пристани в ожидании парохода, идущего в Елабугу, Цветаева успевает поговорить немного с Елизаветой Лойтер. Та едет в Казань. И вот еще один штрих для размышлений: Лойтер вспоминала впоследствии, что Марину Ивановну как будто не радовала перспектива переезда в Чистополь. Она была расстроена и удручена.

Но чем же?..

10

Цветаева вернулась в Елабугу — в дневнике Мура об этом сообщается в записи от 28 августа. Фраза из письма Сикорской Ариадне Сергеевне: «она вернулась такая окрыленная и обнадеженная» — не может иметь для нас веса, ибо не основана на личной памяти автора. Сикорской в эти дни в Елабуге не было. В рассказе же хозяйки елабужского дома Бродельщиковой, записанном в 1964 году Р.А. Мустафиным (самая ранняя из елабужских записей!), сказано иначе: приехала Марина Ивановна подавленная, поникшая. И это больше согласуется с остальными подробностями.

Но на следующий день после возвращения матери в дневнике Мура появляется запись о том, что решение принято: завтра, то есть 30-го, они переезжают в Чистополь!

Решение кажется слишком уж стремительным. Но легко догадаться, что сам Мур страстно хотел уехать из Елабуги как можно скорее. Какие бы отрезвляющие подробности ни рассказала о Чистополе Марина Ивановна, сын уверен был, что хуже елабужской дыры ничего уже быть не может. Впрочем, хотел он больше всего вернуться в Москву, а не ехать в какой-то другой город. (И Мур, и его теперешние приятели — Вадим Сикорский, Саша Соколовский — они подружились за те десять дней, что вместе плыли на пароходе из Москвы — буквально изводили теперь родных требованием ехать обратно. Саша Соколовский даже пригрозил матери самоубийством — и сделал-таки такую попытку! Это произошло уже в сентябре…)

Но и еще одно обстоятельство заставляло, не откладывая, принимать решение об отъезде: сентябрь подступил вплотную. Муру пора было определяться в школу…

Слух о том, что постояльцы Бродельщиковых собираются куда-то переезжать, распространился скорее всего в те дни, когда Цветаева ездила в Чистополь. Но возможно, и еще раньше: вспомним свидетельство А. И. Сизова.

И вот в доме на улице Ворошилова появляется юная Нина Броведовская.

Она только что приехала из Чистополя. Возможно даже, что ехали они с Цветаевой на одном и том же пароходе. Нина была из Пскова, в Чистополе они с матерью оказались случайно, и им там очень не понравилось. Самостоятельная и энергичная, Нина отправилась в недалекую Елабугу — оглядеться и поискать жилье, если там покажется лучше. Сразу по приезде ей назвали адрес Бродельщиковых. Там, сказали ей, еще живет какая-то эвакуированная учительница, но собирается оттуда съезжать, что-то ее не устраивает. Фамилию хозяев Нина запомнила (правда, неточно — как Бродельниковых) из-за того, что она перекликалась немного с ее собственной — Броведовская. Запомнила она и дату своего приезда в Елабугу — 28 августа. Это был день рождения ее двоюродного брата, и Нина уже из Елабуги отправила письмо матери, напоминая ей, как ровно год назад брат приезжал к ним в Псков и они его поздравляли.

В доме Бродельщиковых Нина застала как раз «учительницу», больше никого не было.

Судя по ряду деталей, которые можно высчитать, это было 29 или 30 августа.

Беседу с Ниной Георгиевной Молчанюк, урожденной Броведовской, записывали в разное время Л.Г. Трубицына из Набережных Челнов, много лет занимающаяся сбором материалов о последних днях Цветаевой, Лилит Козлова из Ульяновска, автор нескольких книг, посвященных Цветаевой; известно также, что беседовала Молчанюк и с Анастасией Ивановной Цветаевой, и с сотрудниками Музея изобразительных искусств в Москве. Существует собственноручное письмо Молчанюк, адресованное сотруднице музея А. А. Демской, с подробным рассказом о той давней встрече.

Разночтений в записях почти нет, и, чтобы не упустить важных подробностей, изложу «сводный» вариант.

Итак, когда Нина пришла в указанный дом, ее встретила как раз та квартирантка, которую назвали почему-то учительницей. Имени ее Нина, естественно, не спросила. Одета «учительница» была странно: на ней было что-то вроде фланелевого халата, а ноги укутаны в какие-то толстые обмотки.

Эти укутанные ноги наталкивают на мысль, что горячую ножную ванну принимала Цветаева в канун отъезда из Чистополя не от простой усталости. Боли в ногах, видимо, продолжались. И кстати, в записи Мустафина Анастасия Ивановна Бродельщикова также вспоминает, что Марина Ивановна в самые последние дни (видимо, после возвращения из Чистополя) болела, лежала, потому и на расчистку аэродрома в роковой день 31 августа вместе со всеми пойти не могла. А ведь все должны были идти в тот день: и местные, и эвакуированные.

Отвечая на вопрос неожиданно появившейся девушки, «учительница» подтвердила, что они с сыном действительно собираются отсюда уезжать. Назван был Чистополь — город, где у них есть друзья: «они помогут нам устроиться».

И тут-то выяснилось, что сама Нина только что из Чистополя.

Она рассказала, что им с матерью не удалось там найти ни жилья, ни работы, что для Нины главное — устроить мать, потому что сама она непременно уйдет на фронт: она уже успела окончить фельдшерские курсы.

Цветаева пытается отговорить свою юную собеседницу от этих планов.

В Елабуге, по ее словам, жить невозможно, здесь «ужасные люди», да и во всех отношениях здесь гораздо хуже, труднее, чем в Чистополе.

И фронт — это не для девочки.

Война — это грязь и ужас, это настоящий ад, и смерть на фронте — еще не самое страшное из того, что там может случиться.

— Тем более, — добавила она, — что у вас есть мама. У меня — сын, он тоже все время куда-нибудь рвется. Он вот хочет вернуться в Москву, это мой родной город, но сейчас я его ненавижу… Вы счастливая, у вас есть мама. Берегите ее. А я одна…

— Но как же, ведь у вас сын? — возразила Нина с недоумением.

— Это совсем другое, — был ответ. — Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас — или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать: «А помнишь?» Это все равно что утратить свое прошлое — еще страшнее, чем умереть.

Слова эти тогда же поразили Нину, как поразил ее язык, сама речь женщины, так не вязавшаяся с ее затрапезной одеждой.

Отметим, что в беседе Цветаева уравновешенна, спокойна, даже, пожалуй, рассудительна. Но тема войны и беспредельного одиночества обнаруживает кровоточащую рану.

Долгое время спустя после этой встречи Нина не раз вспоминала услышанное, настолько оно показалось ей значительным; женщина вызвала и симпатию и сочувствие. Запомнить же недавний разговор во всех его подробностях заставили трагические события.

Нина была еще в Елабуге, когда по городу разнеслась весть о самоубийстве одной из эвакуированных. Волей случая она оказалась и на елабужском кладбище в самый день похорон Цветаевой. И здесь только поняла, что самоубийца — ее недавняя собеседница.

Позже назвали и ее имя — Марина Цветаева.

С детских лет Нина слышала эту фамилию у себя в доме: Цветаев. Именно Цветаев, а не Цветаева.

С Иваном Владимировичем, отцом Марины, состоял в интенсивной переписке дед Нины — преподаватель рисования в псковской гимназии; ему даже был послан Цветаевым то ли альбом, то ли какая-то книга с дарственной надписью. Но о Марине Цветаевой, поэте, Нина ничего не знала.

Она услышала о ней только теперь, вернувшись в Чистополь. Оказалось, что мать Нины в юности увлекалась цветаевскими стихами. И даже слышала, как читала их сама Марина вместе со своей сестрой Асей, видела сестер в Крыму на литературных вечерах.

Естественно, что все подробности встречи и гибели Цветаевой были пересказаны теперь матери и заново пережиты Ниной вместе с ней. Потрясение надолго сохранило их в памяти.

У меня нет сомнений в подлинности свидетельства Н.Г. Молчанюк.

Странным образом ощущение достоверности сразу возникло по отношению не только к внешним обстоятельствам встречи, но и к диалогу, хотя, кажется, труднее всего верить воспроизведению прямой речи, звучавшей более сорока лет назад (первые записи воспоминаний Молчанюк относятся к 1984 году). Но доверие появилось сразу: да, это цветаевские слова! Именно Цветаева могла сказать так и об этом.

Свидетельство Молчанюк соответствует решительно всему: характеру Марины Цветаевой, особенностям ее мироощущения и особенностям той ситуации, в которой она тогда оказалась…

(Подтверждение рассказу я нашла и в новой публикации писем Ариадны Сергеевны Эфрон. В двух письмах, адресованных в разное время разным людям, дочь Цветаевой повторяет знакомую нам мысль теми же словами: «9-го апреля похоронила последнего, кажется, человека, которому здесь, в России, могла говорить: «а помнишь?» — мужа моей давней приятельницы Нины Гордон; не знаю, знаешь ли ты ее. Мы с ним дружили еще во Франции, а с ней с первых дней моего приезда в СССР…» И еще в письме от 28 августа 1974 года примерно то же: «…какое счастье, когда каждое горе — пополам. А мне уже давно некому сказать: «а помнишь?» — хотя бы это сказать!»[40]

Это неожиданное эхо — важный опознавательный знак. Очевидно, что в Елабуге Цветаева повторила незнакомой девушке то, что не раз говорилось в их доме и что безотчетно, как губка, впитала в себя Аля, возросшая под мощным излучением материнской личности…)

Эпизод этот в очередной раз опровергает версию о самоубийстве в Елабуге как акте, совершенном в состоянии разрушенной психики. Нет, и свидетельство Чуковской, и свидетельство Молчанюк, становясь в ряд с тремя предсмертными письмами, написанными обдуманно, спокойно, трезво, исключают возможность такой трактовки.

Добавим еще, что и бесхитростный Сизов, говоря о впечатлении, какое на него произвела Цветаева, подчеркивал: не похоже было, чтобы она готовилась тогда к чему-то страшному. Он чувствовал в ней, наоборот, желание вырваться из беды, что-то сделать для этого. «Устремленность в ней была», — настаивал Алексей Иванович…

Почему же не осуществился план отъезда в Чистополь 30-го?

Может быть, просто потому, что ни в тот день, ни в ближайшие не оказалось пароходного рейса на Чистополь. Они были тогда, по словам той же Молчанюк, нерегулярными. Ведь именно по этой причине — отсутствию парохода — и сама Нина застряла тогда в Елабуге, хоть и торопилась вернуться обратно, получив от матери телеграмму.

Но вот еще одна запись в дневнике Мура: 30 августа упомянуты две «литературные дамы» — Ржановская и Саконская, из бывших попутчиц по пароходу. Они обсуждают с Цветаевой вопрос о переезде в Чистополь.

Именно они, пишет Мур, отговаривают Марину Ивановну уезжать! Они считали, что раз там, в Чистополе, нет ничего определенного, то можно и в Елабуге отыскать работу.

И Цветаева находит силы сделать последнюю попытку вытащить себя и сына из болота безнадежности.

Она идет — на больных ногах! — в пригород Елабуги, в овощной совхоз: там, сказали ей, можно договориться о заработке. Идет — и предлагает председателю совхоза свои услуги: вести переписку, оформлять какие-нибудь бумаги.

— У нас все грамотные! — отрезал председатель.

Через несколько дней с тем же председателем случилось разговаривать одной молодой врачихе.

Слух о самоубийстве уже дошел до совхоза.

И председатель уже понял, что приходила к нему именно та усталая немолодая женщина, которая на следующий же день покончила с собой. «Я дал ей тогда пятьдесят рублей, просто чтобы не отпускать ни с чем, — рассказывал председатель. — Но она ушла, оставив деньги на моем столе. А больше я ничего не мог…»

Эту подробность спустя много лет сообщила женщина-врач в письме к И. Г. Эренбургу…

Милостыня, поданная в тяжкие дни великому поэту, — не сыграла ли и она свою роль?

Кто отважится на попытку воссоздать мысли и чувства Цветаевой, возвращавшейся ни с чем обратно, на улицу Ворошилова?

Но есть и еще одно уже не поддающееся проверке свидетельство о прогулке, имевшей место незадолго до рокового дня. Александр Соколовский (тогда еще совсем юный, но обожавший поэзию) рассказывал, что Цветаева предложила ему однажды погулять вместе по Елабуге. Они сделали тогда не один круг, и Марина Ивановна все время говорила на одну тему: о самоубийстве Маяковского. Что именно говорила, мы не знаем — Соколовский уже ушел из жизни.

Когда ее жалели друзья, Цветаеву тут же отпускало напряжение, помогавшее ей оставаться в форме, — слезы выступали на глазах, она не могла их удержать. Чужая доброта делала ее слабой, выставляла на яркий свет всю ее незащищенность.

Десятилетний мальчик, тоже из эвакуированных, в один из теплых августовских дней забрел, гуляя, в пустующее здание церкви Покрова Божьей Матери, полуразрушенные купола которой видны были из окон дома Цветаевой. Он заходил сюда уже много раз, подолгу разглядывал фрески, еще сохранившиеся на храмовых стенах. В тот день он увидел женщину с коротко стриженными полуседыми волосами. Щурясь, она вглядывалась в росписи стен, и мальчик заметил, что разглядывала она фреску со знакомым ему сюжетом. На ней святой Николай протягивал руку к людям, над головами которых палач занес свой топор.

— Он спасет их, — сказал мальчик женщине. — Ведь они ни в чем не виноваты.

— Я это знаю, — ответила женщина, поворачиваясь к мальчику.

И они разговорились. Лицо у нее было очень необычное.

— Где вы живете? — спросил мальчик.

— Тут, рядом, у фонтана, — знаешь? — сказала женщина и улыбнулась ему, потому что какой же это был фонтан. Обычная водопроводная труба попросту торчала из земли посреди едва намеченного круга. Воды там никогда не было, но замысел фонтана отчетливо проступал.

Мальчик понял, о чем она, потому что сам жил неподалеку, на той же улице Ворошилова.

Они вместе вышли из церкви и еще немножко друг с другом поговорили.

А через день-другой мальчик увидел на их улице запряженную повозку и на ней — открытый гроб. Мальчик уже слышал об удавленнице, он подошел поближе к гробу и, заглянув в него, увидел знакомое странное лицо с тонким носом. Он узнал ее сразу — и убежал, потрясенный. Это была первая смерть, с которой он столкнулся в своей маленькой жизни.

Станислав Романовский давно уже живет в Москве. Он сказал мне, что мог бы еще многое добавить, относящееся к обстоятельствам трагического конца великого поэта. Но зачем? Пусть, говорит он, вершится Божий суд, а не людской… И только о той встрече в церкви он и рассказал, — потому что тут уж никакие кривотолки ничего не исказят…

Что же было последней каплей?..

Сестра поэта Анастасия Ивановна считала, что роль эту сыграла ссора с сыном 30-го вечером. Но не в первый раз мать с сыном говорили на повышенных тонах. Ссора ли то была или просто очередное объяснение с упреками со стороны Мура — никто уже и никогда не скажет; ссорясь, они всегда говорили между собой по-французски; смысла речей хозяева понять не могли.

По сравнению с тем, что приходилось переживать Цветаевой прежде, неудачи самых последних дней — комариные укусы. Не больше.

Но что они означали?

А то, что завтра и послезавтра и еще много дней (а может быть, и месяцев!) подряд ей придется продолжать, превозмогая себя, делать усилия.

В Елабуге или в Чистополе.

Искать жилье и работу. Получать унизительные отказы. Искать снова — и снова получать отказы.

Советы двух доброжелательниц, поколебавшие Марину Ивановну в решении немедленно уехать, пришлись на момент, когда пробовать новые варианты у нее не оставалось уже никаких сил…

11

Но где же сюжет с НКВД? Кажется, что ему нет места в эти последние дни. По крайней мере внешне. Ибо, вернувшись из Чистополя, Цветаева — это теперь очевидно! — колеблется: стоит ли уезжать из Елабуги? Она увидела вблизи пределы преданности своего литературного друга; может быть, даже простодушно поверила, что он, Асеев, совсем ничего для нее сделать не может, кроме письма-ходатайства перед правлением. Увидела грязный, не слишком отличающийся от Елабуги город; поверила, что литературной работы там не найдет. С этим последним заключением она все-таки поторопилась, потому что, может быть, не сразу, но позже, с приездом Федина, что-нибудь и для нее нашлось бы. Но Марина Ивановна спешила обратно к сыну и слишком была подавлена, чтобы разузнать обо всем подробнее. А если еще и Асеев сказал ей, к примеру, что на литературный заработок рассчитывать ей не придется, она опять же поверила бы ему сразу и окончательно.

«А больше я ничего не умею…» — повторяла она много раз самым разным людям. И в самом деле не умела. И не могла — можем мы добавить. По той же веской причине не могла, по какой прачка не может станцевать партию Одетты в «Лебедином озере», даже в случае самой крайней необходимости.

Кстати говоря, тот же Сизов сообщил, между прочим, что Цветаева попробовала-таки профессию судомойки в Елабуге! Трудно только установить, было это до или после поездки в Чистополь. Об этой попытке Сизову рассказала вскоре после нашумевшей истории с «удавленницей» официантка елабужского ресторанчика, что на улице Карла Маркса, в здании суда. Она услышала разговор своих знакомых клиентов за столиком и вмешалась:

— А я ее видела, эту вашу эвакуированную. Она ведь у нас судомойкой приходила работать. Да только полдня и проработала. Тяжело ей стало, ушла. Больше и не появилась…

Так что если и в Чистополе ей «светила» только роль судомойки, пусть даже в столовой для писательских детей и жен, стоило ли переезжать?

Но предположим, что главным импульсом поездки в Чистополь был все же страх. И жажда совета и поддержки.

Тогда понятнее мрачное состояние Цветаевой, не исчезнувшее при благополучном исходе заседания писательского правления. Если эту поддержку искала Цветаева в Чистополе, то очевидно, что ее она не нашла.

Скорее всего, она не нашла даже случая обсудить такую заботу с кем-либо.

Новые знакомые у нее были и в Елабуге. А давние?.. Не с Жанной же Гаузнер, человеком другого поколения, было ей советоваться!

И еще она могла за время поездки понять, что от всевидящего ока все равно не убежишь.

Там ли, здесь ли…

Согласиться на доносительство — такого вопроса перед ней не стояло. Но чего можно опасаться в случае отказа? Места переводчицы ей, во всяком случае, не дали. Приятель М.И. Бродельщикова Евгений Иванович Несмелов, рассказывавший мне в Елабуге о хозяевах дома, где жила Цветаева, говорил с их слов: «в переводчицы не взяли по анкете». Но ведь предлагали, уже зная обо всех особенностях ее биографии! Не было ли это первым ответом «органов» на отказ? Чего можно было ждать от них еще? Для себя и для сына?

Вот где в самом деле встает призрак того тупика, о котором напишет Марина Ивановна в предсмертном письме сыну. Напомню: «Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик»[41]. Последние слова подчеркнуты рукой Цветаевой.

Другого тупика, если оценивать ситуацию спокойно, в этот момент не было.

Поездка в Чистополь увенчалась успехом — если целью был переезд. Разрешение было получено! Найти жилье — все говорили — проблема решаемая; хорошие люди обещали помочь и в поисках работы…

В этих известных нам обстоятельствах сторонний взгляд не находит тупика.

Остаются неизвестные.

И еще остается наше знание о полной утрате Мариной Ивановной внутреннего спокойствия. Какой там «сторонний взгляд»!

Спустя два года Мур признался в письме к Гуревичу, что незадолго до трагической гибели мать «совсем потеряла голову», а он только злился за ее «внезапное превращение». Приведу, впрочем, без сокращений эти три важных фразы из письма: «Я вспоминаю М. И. в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, потеряла волю. Она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился за ее внезапное превращение»[42].

Отметим: для сына, который был рядом с матерью все эти месяцы, ее состояние незадолго до гибели выглядело как «внезапное превращение».

Однако осознает это Мур позже.

В Елабуге же в последние дни августа, когда силы матери на исходе, а ее душевное напряжение усугубляется физическим недомоганием, шестнадцатилетний подросток, раздосадованный новой отсрочкой отъезда, не находит в себе ни единой капли сочувствия.

Он зол и жесток.

В его дневнике 30 августа появляется запись:

«Мать как вертушка совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Ч. Она пробует добиться от меня «решающего слова», но я отказываюсь это «решающее слово» произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня».

Не пройдет и суток после этой записи до того момента, как ноги подкосятся у юнца, пытавшегося рассуждать об ответственности.

Он сядет прямо в дорожную пыль, услышав от хозяйки дома о том, что матери уже нет в живых…

12

31 августа 1941 года.

Яркий солнечный день. Все ушли из дома, кроме нее, и она знала, что ушли надолго. Три записки, оставленные на столе, были лаконичны, но каждое слово в них — выверено.

Она уходит из жизни в последний день лета. Уходит в конечном счете потому, что видит себя на грани взнуздания — теми силами, подчиниться которым ее дух не может.

Это всегда была ее, чисто цветаевская особенность в отношении к смерти. В зрелые свои годы она постоянно думает и пишет о смерти добровольной.

Смерть как протест, — если уже не осталось надежды одолеть принуждение. Смерть, если нельзя быть, — то есть жить по собственным высшим законам.

Не возьмешь моего румянца —

Сильного — как разливы рек!

Ты охотник, но я не дамся,

Ты погоня, но я есмь бег.

Не возьмешь мою душу живу!

Так, на полном скаку погонь —

Пригибающийся — и жилу

Перекусывающий конь

Аравийский.

Так горделиво писала она еще в двадцать четвертом. И это победоносное чувство пронесла через всю жизнь.

Ее жизнь, как она была задумана Богом, черпала силы из двух источников: сердцем принятого на себя долга заботы о близких — и роскоши творчества.

И нужно-то было теперь, в сущности, немногое. Минимальный заработок, чтобы прокормить сына и чтобы отсылать время от времени посылки дочери и мужу в лагерь. И возможность на несколько часов в день склониться над листками бумаги с пером в руке.

(Когда она записала свою последнюю поэтическую строку? Или — на худой конец — последнюю фразу в дневнике? «Писать перестала — и быть перестала», — эту формулу, звучащую как приговор, она занесла в свою рабочую тетрадь еще в сороковом году.)

Она всегда называла себя семижильной. И у нее хватило бы сил сопротивляться всем оперуполномоченным мира, как и прочим бедам, — если бы не были уже перекрыты оба источника, обе опоры ее существования. Что оставалось ей теперь?.. 31 августа она делает шаг в пространство свободы.

Вспомнилось ли ей в это последнее утро, что ровно год назад, день в день, 31 августа 1940 года, она была в ЦК партии? Вряд ли.

Ее пригласили прийти туда в ответ на отчаянную телеграмму, посланную за несколько дней до того на имя Сталина.

Второй раз Цветаева обращалась к вождю. На письмо, если, впрочем, оно было отослано, ответа так и не последовало. Теперь речь шла уже не о судьбе мужа, а о ней самой и сыне. К этому времени Марина Ивановна использовала все каналы, которые сама могла придумать и какие подсказывали друзья, чтобы разрешить жилищную проблему.

В белокаменной, некогда воспетой в ее стихах, не находилось места, куда она могла бы поставить свои чемоданы.

А их теперь оказалось немало.

Как раз в августе 1940 года на таможне наконец выдали багаж, прибывший из Франции, — огромную часть его составляла домашняя библиотека Цветаевой. Налегке, без вещей, они еще могли вдвоем с сыном кочевать по квартирам разных добрых людей. Но с багажом деваться было просто некуда. Его свалили у друзей Николая Вильмонта Габричевских, на улице Герцена, но хозяева должны были со дня на день вернуться из Крыма. Цветаева уже писала письма в Союз писателей Фадееву и Павленко, давала объявления в газету, соглашалась на маклера (исчезнувшего вместе с задатком), обращалась в Литфонд.

Безрезультатно.

27 августа 1940 года Мур записал в дневнике, что у матери состояние самоубийцы. В этот день и была послана телеграмма в Кремль. От полной безнадежности. «Помогите мне, в отчаянном положении. Писательница Цветаева», — таков текст, приведенный в дневнике.

И 31-го ее вызвали. Разумеется, не к Иосифу Виссарионовичу.

С Цветаевой дружелюбно беседуют в одном из отделов ЦК.

Прямо при ней звонят в Союз писателей — с предложением помочь найти жилье «писательнице Цветаевой».

В садике неподалеку Марину Ивановну терпеливо ждут Мур и Николай Вильмонт.

Моросит дождь.

Когда она выходит, все трое счастливы уже одним тем, что они снова вместе.

Меньше чем через месяц проблема с жильем в самом деле разрешилась: сотрудник Литфонда А. Д. Ратницкий отыскал комнату, которую и сдал Марине Ивановне на два года инженер Шукст, уехавший работать на Север. Трудно сказать, было ли это результатом звонка из ЦК. Ибо, во-первых, Ратницкий пытался помочь Цветаевой и раньше; во-вторых, огромную сумму, требовавшуюся в уплату за комнату на год вперед, Марине Ивановне все равно, пришлось собирать самой. (Львиную долю дал Цветаевой Пастернак.) Так что указующий звонок из ЦК в Союз писателей был скорее всего отработанной инсценировкой. Привычным враньем, снявшим, однако, ненадолго остроту стресса.

Дневник Мура отметил, что в тот вечер на радостях они пили кахетинское сначала у Вильмонтов, а потом еще и у Тарасенковых.

В тот же день (утром? или совсем поздно вечером?), 31 августа 1940 года, Марина Ивановна писала горькое письмо поэтессе Вере Меркурьевой.

О том, что Москва ее не вмещает. Что она не может вытравить из себя оскорбленного чувства права.

Ибо, писала она, Цветаевы «Москву — задарили»: усилиями отца воздвигнут Музей изящных искусств, а в бывшем Румянцевском музее — «три наши библиотеки: деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева». Позже Марина Ивановна поставит рядом и другое свое право: уроженца города. И еще право русского поэта. И еще право автора «Стихов о Москве».

Унижение провоцирует в ней мощный всплеск уязвленной гордости.

«Я отдала Москве то, что я в ней родилась!» — так сформулировала она наконец в письме к той же Меркурьевой[43].

Сказано все это совсем не по адресу. Но где адрес, где тот имярек, кто измучил ее и ее близких, отнял возможность самого скромного существования? Перед кем еще можно было бы высказать все эти доводы, клокотавшие в сердце?

Я склоняюсь к мысли, что письмо это писалось именно в преддверии разговора с властями, может быть, в ожидании назначенного часа.

Цветаева с пером в руках выговаривала аргументы, которые — она понимала! — ей не придется высказать властям…

13

Когда во Франции она спорила с мужем и дочерью о том, что именно происходит в Советской России, ей казалось, что они ослеплены и одурачены, а она в отличие от них трезва в своих оценках.

Но как далеко было ей до трезвости! Какие залежи иллюзий должны были разорваться в ней со звоном и грохотом, едва она ступила на землю отечества!

Она была готова ко многому, но не к такому.

Чего она боялась? Что ее не будут печатать, что Муру забьют голову пионерской чушью, что жить придется в атмосфере физкультурных парадов и уличных громкоговорителей… Вот кошмары, на съедение к которым она ехала, ибо выбора у нее не оставалось — выбор за нее сделала ее семья.

Она пыталась и не могла представить себя в Советской России — со своим свободолюбием и бесстрашием, которое называла «первым и последним словом» своей сущности[44]. С этим-то бесстрашием — подписывать приветственные адреса великому Сталину? А ведь даже подпись Пастернака она с ужасом обнаружила однажды в невероятном контексте на странице советской газеты.

Но ей и во сне не могло присниться, что на самом деле ждало ее в отечестве.

Не приветственный адрес ей пришлось подписывать, а челобитные и мольбы о помощи. Тому, кто вдохновлял и вершил беззаконие, кто ставил ее дочь раздетой в узкий ледяной карцер, где нельзя ни сесть, ни прислониться к стенам, а мужа доводил истязаниями до галлюцинаций.

Бесстрашие… Оно становится картонным словом из лексикона рыцарских романов, когда на карте оказывается не собственное спасение, а жизнь твоих близких.

Оно сменяется обратным: неисчезающим страхом. За близких. Но и за себя, потому что тебя стремятся превратить в колесо для распятия самых дорогих тебе людей.

«Вчера, 10-го, — записывала Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради, не договаривая, проглатывая куски фраз, — у меня зубы стучали уже в трамвае — задолго. Так, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть, услышала) я поняла, что я боюсь. Как я боюсь. Когда, в окошке, приняли — дали жетон — (№ 24) — слезы покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли — я бы не плакала…»

Ясен ли перевод на общечеловеческий? Она едет в тюрьму с передачей для мужа, о котором полтора года не знает ничего. Единственный способ узнать, жив ли он, — передача: приняли — значит, жив.

А вдруг на этот раз не примут?

Короткая запись в другом месте тетради: «Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью)?»

И еще запись, вбирающая все частности:«Страх. Всего»[45].

Оба слова подчеркнуты.

Зимой и весной 1940 года ее мучали ночи в Голицыне: звуки проезжающих мимо машин, шарящий свет их фар. И Татьяне Кваниной она говорит как бы невзначай: «Если за мной придут — я повешусь…»

В ее письмах 1939–1941 годов — россыпь признаний, в которых отчетливо прочитывается страх собственного ареста. А может быть, и ареста Мура. Разве не арестовали уже сына ее сестры Аси Андрея Трухачева? И сына Клепининых Алексея?

Перед самым отъездом в эвакуацию ей необходимо взять из жилищной конторы справку. Но она боится идти за ней сама и просит сделать это Нину Гордон: если она сама придет за справкой, ее тут же заберут. Она боится своего паспорта — он «меченый». Боится паспорта Мура. Боится, по воспоминаниям Сикорской, заполнять анкеты; что ни вопрос там, то подножка: где сестра, где дочь, где муж, откуда приехали.

Соседка по квартире на Покровском бульваре (тогда еще десятиклассница) Ида Шукст вспоминает, что Цветаева боялась сама подходить к телефону и сначала узнавала через нее, кто спрашивает.

Однажды — уже началась война — в квартиру без предупреждения пришел управдом. «Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла так»[46]. Оказалось, он приходил просто чтобы проверить затемнение. Но Цветаева слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью тридцать девятого: всякий раз ему сопутствовал очередной обыск — и арест.

Она боится довериться новым знакомым. Сикорская пишет об этом довольно резко: «Ей все казались врагами — это было похоже на манию преследования»[47].

Преувеличены ли были все эти страхи? Нисколько.

И об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание Учреждения к своей особе. Вряд ли это так.

Отметим, однако, важное различие в трагическом самоощущении двух русских поэтов. Ахматова прожила в этом отечестве всю свою жизнь (что само по себе не подвиг и не заслуга). Цветаева очутилась в России после семнадцати с лишним лет разлуки. И о таком чудовищном разгуле беззакония и лицемерия, пронизавших страну снизу доверху, она, конечно, не догадывалась. Вот почему то, что обрушилось здесь на ее семью, вызвало у нее такой шок.

Я думаю, мир пошатнулся бы много слабее в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, у кого все двадцатые годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов!

«Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость», — записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу попрание справедливости в ее отечестве этих лет равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре.

Но таков ее сердечный ожог.

Безмерная острота реакций — отличительная черта ее природного склада.

Бесспорно, и без «бумажных» доказательств мы назовем НКВД прямым пособником в самоубийстве Марины Цветаевой.

Черное его дело началось не в Елабуге. И даже не осенью тридцать девятого года, когда арестовали Алю и Сергея Яковлевича. И не осенью тридцать седьмого, когда был убит под Лозанной Рейсс-Порецкий и Эфрон бежал из Франции, а Цветаеву дважды допрашивали во французской полиции. Может быть, в июне тридцать первого, когда Сергей Яковлевич отнес в советское консульство в Париже прошение о возврате на родину? Или же еще раньше: в двадцатые годы, когда в ряды русских эмигрантов были засланы первые люди в штатском, получившие задание в кабинетах ГПУ?

Но в конце концов не столь уж и важно, в какой именно момент паутина лжи и шантажа, затянувшая в свои сети Сергея и Ариадну Эфрон, стала смертельно опасной уже для жизни Цветаевой.

Несомненным можно считать другое: нити той паутины накрепко вплетены в роковую елабужскую петлю.

Расстрелянный Гумилев, сгинувший в сибирских лагерях Клюев, погибший на Колыме Мандельштам, поставленные к стенке Мейерхольд и Бабель…

Гордая, независимая, блистательная Марина Цветаева — в их сонме. Сонме жертв Великой Октябрьской Социалистической.

НА ПОЛЯХ ЭТОЙ КНИГИ

(Дополнения к главе «Лубянка»)

Работа в архиве КГБ предоставила автору настоящей книги сюжеты и сведения, которые не уложились в рамки повествования. Иные из них мне показались интересными лишь для людей дотошного склада, другие — для специалистов-историков. И при саморедактуре текста я поначалу хотела исключить все то, что читатель найдет ниже. А потом решила: из основного текста исключу, а «на любителя» оставлю. Ибо почти каждое из помещенных далее дополнений основано на фактах, явно не общедоступных. Они могут пригодиться.

К с. 108.

Подталкиваемый вопросами следователя о практической деятельности евразийцев, Эфрон сообщает немало интереснейших сведений. В его характеристиках всплывает обширная сфера работы евразийцев, которая была скрыта от глаз просто «сочувствующих».

Как сообщает Эфрон, работа была поделена на три «сектора». Первый ведал пересылкой евразийской литературы в СССР, для чего использовались, в частности, и дипломатические каналы Польши. Эту деятельность организовывали два человека — К. Б. Родзевич и П. С. Арапов. Второй «сектор» занимался переправкой в Советский Союз эмиссаров. Делалось это с помощью известной организации «Трест». До поры до времени евразийцы чистосердечно верили, что «Трест» — организация единомышленников, возникшая и действующая нелегально на территории советской страны. И даже после первых разоблачений, обнаруживших прямую связь «Треста» с ОГПУ, в евразийских кругах упрямо утверждали, что проникновение отдельных «чекистов» еще не дискредитирует всю организацию как таковую. Поверить в то, что «Трест» был исходно придуман в кабинетах Дзержинского и его сподвижников, а уж затем изобретательно инсценирован — ради целей грандиозной провокации, — евразийцы оказались неспособны. Месяцы и даже годы подряд они самонадеянно повторяли, что сумеют «переиграть» ГПУ и, наоборот, использовать в своих интересах настойчивые попытки Учреждения войти с ними в контакт. Известно, чем увенчались эти наивные надежды.

Петр Арапов совершил, по словам Эфрона, три-четыре поездки в Союз; в последний раз он уехал из Парижа в 1930 году — и не вернулся, навсегда исчезнув в лагерях ГУЛАГа.

Наконец, третий «сектор» организовывал евразийскую пропаганду во Франции. С этой целью, рассказывает Эфрон, устраивались встречи и доклады вполне академического характера. На них приглашались и советские граждане, приезжавшие на время за границу…

По версии П. Н. Толстого, после исчезновения Арапова главная роль в группе «левых» евразийцев перешла к Эфрону. То же самое говорит на допросах Клепинин.

Сам Сергей Яковлевич в 1931 году подал через советское полпредство в Париже заявление во ВЦИК с просьбой разрешить ему возвращение на родину. У этого шага не было никакой скрытой подоплеки. Эфрон, как и многие из его ближайшего окружения, постепенно пришел к полной переоценке случившегося в России.

Он стал искренним энтузиастом «социалистического строительства» и желал участвовать в нем непосредственно, а не издали. Его энтузиазм, способность загораться очередной верой и идеей, служить ей столь же бескорыстно, сколь и слепо, были в полной мере использованы чиновниками советского полпредства, распоряжавшимися судьбами русских эмигрантов с несравненно большей властью, чем ВЦИК.

Это вовсе не был поворот на сто восемьдесят градусов, как любят порой утверждать малоосведомленные авторы.

То была как раз постепенная и даже чуть ли не естественная эволюция людей, которые не родились ни политическими мыслителями, ни даже политическими борцами. Просто совестливые и неравнодушные люди не могли примириться с гибельным в их глазах развитием событий на родине. Эволюция их взглядов прошла через угасший ореол Добровольчества, разъеденного к концу корыстью и злобой[48], через пересмотр верований «отцов» (старой революционно настроенной интеллигенции), через поиски своего пути к реформированию общества. Существеннейшим этапом стало изменение оценки событий 1917 года: оголтелое и слепое неприятие сменилось отношением к революции как к социальной стихии, с которой необходимо считаться как с реальной данностью. Дальше — больше: через терпимость к лозунгам Октября, через наивное доверие к заявленным планам хозяйственных преобразований, через обольщение НЭПом… Тут-то и подоспели льстивые и ловкие люди, прикрытые невинной службой в парижском торгпредстве или полпредстве…

Нет, не крутой и неоправданный поворот, а скорее уж мощно затягивающая воронка «чары», как назвала бы это Цветаева. Обольщение «ликом добра» — вот на что это гораздо больше похоже…

К с. 115.

О слежке П. Н. Толстого за Гаяной сообщили протоколы допросов; вряд ли это было известно ранее.

Но еще в 1935 году кто-то из советских писателей, приехавших в Париж на Антифашистский конгресс деятелей культуры, рассказал Эфрону другую новость. А именно: что Толстой настрочил донос и на собственного знаменитого родственника, гостеприимством которого он пользовался. Он не рассчитал, однако, что у Алексея Николаевича оказались преданные ему люди в ленинградском НКВД. Они не только не дали ход бумаге, но и сообщили самому писателю о ретивости его постояльца.

Вернувшись на родину, Сергей Яковлевич решительно избегал встреч с Толстым и предупреждал других, общавшихся с Павлом Николаевичем, о необходимости соблюдать с ним сугубую осторожность.

К с. 119.

Тема связи с масонскими организациями (при этом следователь неизменно пишет «массоны») мельком возникала еще на первом допросе Эфрона. Он высказался тогда вполне определенно: да, такая связь у него была — по прямому указанию органов НКВД в Париже, «ибо я был их секретным сотрудником». Признание соседствовало по аналогии с другим, уже упоминавшимся: П. С. Арапов вступил в контакт с иностранными разведками также по заданию ГПУ. Однако Клепинин на этой очной ставке подсказывает новый ход: связь с русскими масонами в Париже как раз и означала прямую службу Эфрона во французской разведке! Утверждение сочинено, по-видимому, по подсказке следователей; не мытьем, так катаньем им необходимо привязать к Эфрону обвинение в шпионаже.

В протоколах допросов Клепинина содержатся и другие, на этот раз, видимо, достоверные сведения о контактах Эфрона с одной из масонских лож. Сергей Яковлевич, утверждает Клепинин, прочел там доклад (или даже доклады) и, в конце концов, был «посвящен в высшую ступень». Официальная справка в следственном деле Эфрона назвала и конкретную масонскую ложу, в которую вошел Сергей Яковлевич, — «Гамаюн».

К с. 131.

Кстати. Не слишком ясно, почему Нине Клепининой разрешили приехать в Россию с сыновьями почти сразу вслед за мужем, а Цветаеву не выпускали из Франции еще полтора года? До опубликования переписки Цветаевой с Ариадной Берг[49] еще не было так очевидно, что вовсе не сама Марина Ивановна решала в эти месяцы — возвращаться или нет ей с сыном в Россию — и когда именно возвращаться. Из переписки же стало ясно со всей несомненностью, что судьба Цветаевой с момента побега мужа ей уже не принадлежала. Документы на выезд она подала в конце 1937 года, спустя примерно месяц после исчезновения Сергея Яковлевича. И с лета 1938 года стала ждать отъезда буквально со дня на день. Однако ее почему-то держали во Франции. Потому ли, что просто забыли о ней — или выжидая «нужного» часа?

В самом деле, не связано ли это с тем, что было удобнее держать ее с сыном во Франции как бы в качестве заложницы, — для уверенности в поведении Эфрона на родине? Оступится — не впустим семью. И еще что-нибудь с ней может случиться. Эфрону ли об этом не знать…

Однако к лету 1939 года арест самого Сергея Яковлевича был уже, видимо, предрешен. И Цветаева с сыном понадобились уже в Москве — для той же цели. Дабы их арестом можно было шантажировать Эфрона на допросах, — известно, что это делалось часто в тогдашней практике НКВД.

Впрочем, зная российские особенности, можно объяснить длительную отсрочку выезда Цветаевой из Франции и попроще. Так, как предлагает это объяснить в своей книге Мария Белкина. Подсунули, дескать, в начале лета 1939 года забытую бумажку некоему делопроизводителю — тот отнес, кому надо… И возвращение великого поэта на родину разрешено. Почему бы и нет? Все возможно.

К с. 134.

Эмилию Литауэр допрашивают о Цветаевой 19 февраля — и тоже других тем в этот день не возникает. Следователь спрашивает:

— С какими антисоветскими организациями была связана Цветаева во Франции? С кем из лиц, враждебно настроенных к СССР, она встречалась?

Литауэр называет в ответ журнал «Современные записки», газету «Евразия», эсеров Бунакова-Фондаминского и Лебедева, «агентов иностранных разведок» Святополка-Мирского, Гучкову-Трейл, Клепининых. Антисоветские настроения Цветаевой, — говорит Эмилия, — выразились в ее стихах о Белой армии и царской семье. По приезде в Болшево, — записывает следователь, — «в своем кругу она не стеснялась заявлять, что приехала сюда, как в тюрьму, и что никакое творчество для нее тут невозможно».

К с. 147.

В показаниях арестованных «болшевцев» не однажды всплывает имя Веры Александровны Трейл.

Дочь бывшего военного министра Временного правительства А. И. Гучкова, она рано вышла замуж за П. П. Сувчинского, одного из виднейших в русской эмиграции двадцатых годов «евразийцев». К концу 1925 года или к самому началу 1926-го относится знакомство супругов Сувчинских с Цветаевой. В письме к автору этих строк от 24 ноября 1979 года В. А. Трейл так вспоминала об этом знакомстве: «Познакомились мы — да, почти сразу после их (Цветаевой и Эфрона — И. К.) приезда в Париж. ‹…› Виделись часто. Мне было лет 19–20. Стихи ее я открыла, сама для себя, раньше и была потрясена. Потом прочла у Мирского — «распущенная москвичка» — и когда он приехал из Лондона (он проводил каникулы во Франции), я устроила скандал: «Ах ты, великий критик! Ты ровно ничего не понимаешь! Она гениальный поэт». Он покорно перечел и сказал, что, пожалуй, я права. А когда она появилась в Meudon[50] (раньше она жила у каких-то Черновых, не помню где) — мы все отправились знакомиться — Петр (мой муж), Дим (Мирский) и я».

Вскоре после знакомства возникает замысел совместного издания журнала «Версты», который появился спустя полгода и вызвал крайне резкую реакцию правых эмигрантских кругов.

Вера Александровна до поры до времени выступает лишь как жена незаурядного человека, но уже в ту пору Цветаева отмечала в ней и ум и самобытность. «Писала она мне редко, — вспоминает Трейл в том же письме, — мы слишком часто виделись — эти 3–4 письма у меня (как и я сама) сгорели. Помню фразу (лестное запоминается!) — «Большому кораблю большое плаванье». Т. е. она считала меня очень умной. А я знала, что она необычайный поэт. ‹…› Не вижу, чем она меньше, чем, например, Пастернак…»

Одно из уцелевших (от пожара) писем Цветаевой к В. А. было опубликовано в журнале «Звезда» (1992, № 10). В нем — щедрое признание несомненных, в глазах Марины Ивановны, достоинств молодой Сувчинской: ума, гордости и даже «душевного целомудрия».

Однако спустя несколько лет отношение Цветаевой к В. А. решительно изменится: и среди причин, в частности, была та, что В. А. втягивала Ариадну Эфрон в политические страсти, способствуя тем самым углублявшемуся отчуждению матери и дочери.

Уже после развода В. А. с Сувчинским Эфрон вовлекает ее в работу советской разведки, с которой он сам себя связал с начала тридцатых годов. И тут, видимо, В. А. находит выход врожденной своей активности, энергии и авантюризму, унаследованным от отца. А также способности очаровывать людей самого разного круга.

Летом 1936 года мы находим ее в Москве. Она живет в гостинице «Москва» и в кафе «Националь» постоянно встречается с переехавшими из Парижа прежними своими друзьями и единомышленниками: с Ариадной Эфрон, Эмилией Литауэр, Николаем Афанасовым. Встречалась она и с Дмитрием Петровичем Святополком-Мирским, приехавшим в СССР раньше многих других. В допросах Эмилии Литауэр явственно передана властная, как бы руководящая, позиция Веры Александровны: ее советам, более похожим на распоряжения, беспрекословно следует, видимо, не только Эмилия.

«Зачем она приезжала в Москву?» — спросят на одном из допросов Ариадну Эфрон. «По вызову начальства, для выяснения ее дальнейшей работы в Иностранном отделе НКВД», — записан ответ Ариадны. Последняя охотно проявляет в таких вопросах осведомленность, предъявляя ее как бы в виде некоей «охранной грамоты». Грамота, однако, не срабатывала, ибо допрашивали Ариадну уже через два года после отъезда В. А. из Москвы — осенью 1939 года. Ариадна имела дело со следователями бериевского, а не ежовского набора. Для них Ежов, покровительствовавший, насколько можно судить, В. А. и другим «кадрам», завербованным в среде русской эмиграции, был к этому времени уже не только политический труп, но и «враг народа».

Из допросов выясняется история второго замужества Гучковой: на совместном совещании Мирского, Литауэр и Сувчинской было решено (и это решение поддержал из Парижа Эфрон), что В. А. для служебных задач целесообразно выйти замуж за Роберта Трейла — английского журналиста, шотландца по происхождению, который в это время находился в Москве. Замысел был осуществлен, и с этого момента паспорт иностранной подданной облегчал В. А. роль связной между Москвой и Францией.

Московское начальство собиралось отправить В. А. — после ее нового замужества — на дальнейшую работу в Великобританию. Но неожиданно натолкнулось на энергичное сопротивление норовистой подчиненной. Добившись приема у Ежова, В. А. сумела доказать, что ее работа во Франции принесет НКВД несравненно больше пользы, так как там у нее прекрасно налажены многочисленные связи.

В СССР В. А. прожила несколько дольше года, хотя нельзя сказать с уверенностью, не выезжала ли она за пределы страны в этот период (с лета 1936 по сентябрь 1937 года).

Но за пределы Москвы В. А. достоверно выезжала, ибо с регулярностью посещала подмосковную школу разведчиков НКВД. В книге «Охотник вверх ногами» Кирилл Хенкин утверждает, что в этой знаменитой школе В. А. не училась (как я думала поначалу, прочитав об этом впервые в протоколе одного из допросов), а преподавала.

О Сергее Яковлевиче Эфроне Трейл писала мне в 1979 году следующее: «Я не знаю, знаете ли Вы и хотите ли знать о «деле Рейсса». Считается, что С. был в этом замешан, а я уверена, что нет. — Марина, конечно, ничего не знала и политикой вообще не интересовалась.

Я вернулась из Москвы около 15-го — м. б. 10 сент. 1937. Сережа приходил почти каждый день. Сказал, что он влюблен в барышню 24-25-ти и не знает, что делать. Я сказала: — «Я знаю, что делать», но он, вздохнув, ответил: «Нет. Я не могу бросить Марину».

20 сентября родилась моя дочь. И дня через 3–4 появился в больнице С.: «Меня запутали в грязное дело, я не при чем, но должен уехать».

Обратим внимание, что в данном письме подтверждено: во Францию Трейл приезжает «не позже 15 сентября», в действительности же, как мы далее увидим, дней на десять раньше.

Протоколы допросов Сергея и Ариадны Эфрон, Клепининых, Литауэр и Афанасова недвусмысленно проясняют характер деятельности Веры Александровны. И вот теперь, когда мы многое уже об этом знаем, совсем иначе, чем раньше, читаются личные письма В. А., обнаруживающиеся у самых разных ее корреспондентов.

В книге «Агенты Москвы», изобилующей — увы! — огромным числом фактических неточностей и ошибок (Allain Brossat. Agents de Moscou. Le Stalinisme et son ombre. — Gallimard, 1989), французский журналист Аллен Бросса рассказал, в частности, о содержимом чемодана, обнаруженного в вещах русского эмигранта К. Б. Родзевича, умершего в одном из парижских «старческих домов». Среди прочего там оказалась пачка писем его давней возлюбленной и сподвижницы — В. А. Трейл. Естественно, что друг с другом они вполне откровенны, — и можно только пожалеть, что им нет нужды пересказывать друг другу известные обоим обстоятельства.

Тем не менее, эпистолярные тексты, приведенные в книге Аллена Бросса, внятно указывают на участие того и другого в работе советской разведки.

Но вот совсем свежая находка. Это письма В. А. Трейл к брату Эмилии Литауэр Александру. С ним в тридцатые годы В. А, также была близка и дружна. Приведу два отрывка из письма от 27 сентября 1984 года:

«… Ах да! Почему я считаю, что Ежов спас мне жизнь.

П.ч.[51] я провела с ним 4 часа — от полуночи до 4-х утра — пошла уговаривать прекратить террор — и вручила ему список своих арестованных друзей — 20 человек. Он сказал, что потребует их досье и чтобы я вернулась дня через 3–4 их с ним обсудить. Но 4 дня я не прождала.

На следующую же полночь (чекисты тогда только просыпались) — телефон: «Говорит Кремль. Поручение от тов. комиссара: — «Уезжайте немедленно». Я на секунду испугалась — (т. е. сердце успело чуть-чуть упасть — что за «немедленно»?), но быстро спохватилась и рассердилась: «Я не могу уехать посреди ночи». Дядя — глубокий бас — ответил раздраженно: «Не посреди ночи, а с первым поездом. Кажется в 9.30. А если не попадете — есть вечерний».

Я продолжала сердиться и торговаться: «Но он же обещал показать мне… ммм… некоторые бумаги». — «Да, — басит чекист, — Вы не дали мне договорить. Бумаги будут в нашем парижском консульстве. После родов — желаем Вам всего наилучшего — Вы туда зайдите». Уехала я не на след. день, а кажется через следующий. Маша родилась…» (В письме не сохранилась последняя страница.)

И еще один отрывок, из письма тому же адресату:

«Я не помню, чтобы я тебя политически совратила. Было бы совестно, если бы я была такой наивной дурой. Но люди умнее или во всяком случае ученее меня — тоже попались и поплатились жизнью. Миля (Эмилия Литауэр — И.К.) — Мирский.

Как я выжила там в 1937 г., не совсем понятно, но была догадка, что в меня влюбился сам Николай Иванович Ежов. Что он спас жизнь мне — это факт, но влюбился — мне кажется нет… Вряд ли. Он был мне вроде как до талии, а я была на 9-м месяце беременности. Где тут любовь?»

Последняя фраза этого письма написана под рисунком, на котором В. А. изобразила рядом себя и Ежова.

Александр Литауэр, который и сейчас живет в Париже, продолжает верить версии о влюбленности Ежова и его спасительной роли. Что до меня, то я истолковала бы эпизод, рассказанный в письме, иначе. Мне кажется, что народный комиссар НКВД нашел хитрый способ избежать ответа строптивой В. А. на ее требовательный «запрос» об арестованных друзьях. Конечно, естественнее для него было бы просто отдать распоряжение об аресте самой Трейл, и с этой точки зрения Николай Иванович выглядит благодетелем. Но даже такое «благодеяние» сомнительно.

Ибо, скорее всего, В. А. пришла в тот раз к Ежову не ради своих друзей, а по вызову. Ежов, очевидно, готовил Трейл как эмиссара, — дабы передать срочно в Париж деньги и распоряжения. И в связи с ее настоятельной и крайне неудобной просьбой, касающейся арестованных друзей, разве что ускорил сроки ее отъезда.

В самом деле: сопоставим числа. Разговор Трейл и Ежова происходит, скорее всего, в самом начале сентября. Я делаю это предположение, исходя из сообщения швейцарских историков П. Хубера и Д. Кунци, работавших в архивах Гуверовского Института. Опираясь на документы полицейских архивов, они рассказали и о некоторых обстоятельствах возвращения Трейл во Францию. В частности, о том, что вскоре после ее приезда в Париж на ее квартиру явилась полиция с обыском. Неожиданно застала там К. Б. Родзевича, который спешно жег какие-то бумаги. В полицейских документах считается установленным, что В. А. привезла из Москвы чек на большую сумму для передачи матери Виктора Правдина (он же Франсуа Росси, один из убийц Игнатия Рейсса).

На допросе во французской полиции Трейл убедительно доказала собственное алиби по отношению к данному убийству. Она предъявила паспорт, где таможенная служба зафиксировала, что именно в день, когда Рейсе был убит под Лозанной, — то есть 4 сентября — Трейл пересекала территорию Польши.

Но если 4 сентября В. А. проезжает Польшу, то из Москвы она выехала 1–2 сентября. А в эти дни Ежов уже знает, что специальная оперативная группа, полтора месяца разыскивавшая «невозвращенца» (с момента, когда он передал в парижское полпредство свое обличительное «Письмо в ЦК партии»), обнаружила его в Швейцарии.

До убийства оставались считанные сроки. Можно было не дожидаться окончательного сообщения и отправить подготовленного эмиссара несколько раньше. В частности, и для того, чтобы не разочаровать его неутешительными известиями о друзьях…

К концу жизни Трейл утратила иллюзии относительно великой социалистической родины и считала себя, как мы прочли в одном из приведенных выше писем, одной из жертв, «попавшихся» на обман. Тем не менее, в воспоминаниях, надиктованных ею на магнитофон в последние годы жизни и расшифрованных проф. Дж. Смитом, упоминаний о службе в НКВД, насколько мне известно, не имеется.

В. А. Трейл умерла в возрасте восьмидесяти лет в Кембридже (Великобритания) в апреле 1987 года.

Мне удалось с ней однажды недолго побеседовать во время ее приезда в Москву, — кажется, это было в 1980 году. Встретиться помог А. В. Эйснер, некогда близкий друг Веры Александровны. Трейл была энергична, иронична и жизнерадостна, несмотря на возраст и недавно сломанную ногу. Увы, я знала тогда слишком мало, чтобы задать нужные вопросы. Но все равно, вряд ли она стала бы со мной откровенничать. Хотя держалась внешне вполне доброжелательно и открыто…

К с. 149.

Дело Ариадны Эфрон было выделено в особое производство (после встречи подследственной 14 марта 1940 года с прокурором Антоновым).

Из текста постановления, составленного следствием, получается, что сделано это за неустановленностью шпионских связей А. С. Эфрон. Однако в обвинительном заключении повторено как ни в чем не бывало: «являлась шпионкой французской разведки и присутствовала на антисоветских сборищах группы лиц… Считая доказанным, направить Прокурору СССР для передачи по подсудности». Дата обвинительного заключения — 16 мая 1940 года.

Особое Совещание, на котором обвиняемые никогда не присутствовали, решило судьбу Ариадны уже 2 июля 1940 года: «за шпионскую деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет…» Однако и Ариадну продержат во внутренней тюрьме до начала следующего года! Ей дадут ознакомиться с приговором только 24 декабря! Через полгода после его вынесения. Было ли это распространенной практикой тогда — я не знаю.

К с. 152.

Известная нам биография Ариадны Эфрон пополняется в результате ознакомления с ее делом рядом существенных сведений. Так, она рассказывает, что в парижском «Союзе возвращения на родину» поначалу она была рядовым членом, а затем организовала молодежную группу. В редакции журнала «Наш Союз» работала литературным сотрудником и художником-оформителем. В заявлении, посланном в 1954 году на имя прокурора Руденко, она характеризует «Союз возвращения» как организацию, являющуюся «одним из замаскированных опорных пунктов нашей контрразведки в Париже».

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Марина Цветаева <Запись 1940 года>

Возобновляю эту тетрадь 5-го сент. 1940 г. в Москве.

18-го июня приезд в Россию, 19-го в Болшево. На дачу, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефонам[52]. Энигматическая[53] Аля, ее накладное веселье. Живу без бумаг[54], никому не показываясь. Кошки. Мой любимый неласковый подросток — кот. (Все это — для моей памяти, и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит такого.) Торты, ананасы, от этого — не легче. Прогулки с Милей[55]. Мое одиночество. Посудная вода и слезы. Обертон — унтертон всего — жуть. Обещают перегородку[56] — дни идут. Мурину школу — дни идут. И отвычный деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя. Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день. Когда — писать??

Девочка Шура[57]. Впервые чувство чужой кухни. Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, во всем. (Я, что-то вынимая: — Разве Вы не видели? Такие чудные рубашки! — «Я на Вас смотрел!»)

(Разворачиваю рану, живое мясо. Короче:) 27-го[58] в ночь отъезд Али. Аля — веселая, держится браво. Отшучивается.

Забыла: Последнее счастливое видение ее, — дня за 4 — на С. X. Выставке[59] «колхозницей» в красном чешском платке — моем подарке. Сияла.

Уходит, не прощаясь! Я — что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается! Комендант (старик, с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы…

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы, если эта голова — так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк, но их нет, потому что везде электричество. Никаких «люстр».

Н. П.[60] принес переводные народные песенки. Самое любимое, что есть. О как все это я любила! Я год[61] примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно)[62], мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна… но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — дожевывать. Горькую полынь.

Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим кончено.

Марина Цветаева <Предсмертные письма. Елабуга. 31 августа 1941 года>

1.

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».

2.

«Дорогие товарищи!

Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом — сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адр. Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте».

3.

«Дорогой Николай Николаевич![63]

Дорогие сестры Синяковы![64]

Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю.

У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи…

В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы.

Поручаю их Вам, берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает.

А меня простите — не вынесла.

М. Ц.

Не оставляйте его никогда. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас.

Уедете — увезите с собой.

Не бросайте».

**Марина Цветаева <Письмо И. В. Сталину>**

Текст, публикуемый ниже, предлагался вниманию читателя дважды — в вариантах, несколько отличающихся друг от друга. Первой была публикация Льва Мнухина в парижской газете «Русская мысль» (№ 3942 от 21 августа 1992 года) под названием «Письмо Марины Цветаевой И. В. Сталину». Во второй публикации («Литературная газета», № 36/5413 от 2 сентября 1992 года) представлен был почти тот же текст, однако теперь он оказался обращенным к Лаврентию Берии. М. Фейнберг и Ю. Клюкин извлекли его из архива Министерства безопасности России. В печати завязался спор между публикаторами. Уязвимым обстоятельством первой публикации было то, что в тексте, которым располагал Л. Мнухин (источник — некий частный архив), обращение отсутствовало и реконструировалось лишь на основании устного свидетельства дочери Цветаевой.

И вот — третья публикация «письма».

Источник данного текста — архив секретаря Союза писателей СССР К. В. Воронкова, в котором было обнаружено письмо Ариадны Сергеевны Эфрон. К письму прилагался перепечатанный на машинке текст другого письма. Его автором была Марина Цветаева. Сама А. С. Эфрон обозначила адресата письма матери уверенно: «И. В. Сталин».

История получения текста публикатором Мариной Кацевой изложена в ее вводной заметке.

Сравнение данного текста с уже опубликованными свидетельствует прежде всего о том, как долго, кропотливо, мучительно писала и переписывала Цветаева свое послание, колеблясь, с кем-то, возможно, советуясь: кому же лучше его адресовать. Ибо и в прилагаемом тексте обращение тоже не поставлено.

На машинописи письма — два автографа А. С. Эфрон: подпись в конце ее письма к К. В. Воронкову и надпись на первом листе «Письма Сталину» (приведены в заметке «От публикатора»).

Итак, дочь Цветаевой была уверена именно в таком адресате, хотя мы не знаем точно, на чем основывалось ее уверенность. Вполне реальным кажется предположение, высказанное Л. Мнухиным: «Цветаева могла отправить не одно, а два почти идентичных письма, двум адресатам.

И все же не спор об адресате, на наш взгляд, главное в публикациях этого текста.

Бесконечно дорога нам сама возможность услышать голос Марины Цветаевой — ее колебания и сомнения, мучительный поиск интонации и аргументов — в трагический час, когда она ищет слов, способных умолить палача, остановить его руку, занесенную над головами ее родных.»

Скорее всего, перед нами первый вариант письма, который затем, при переписывании, Марина Цветаева обильно дополняет, а кое-что и выбрасывает. Дополнения особенно показательны: они усиливают такие моменты, как перечисление заслуг отца, Ивана Владимировича Цветаева, перед русской культурой, а в характеристике Эфрона — черты его безукоризненной честности, бескорыстия и преданности идее коммунизма. Но заслуживают внимания и некоторые фразы, от которых затем, при переписывании, Цветаева отказывается.

В нашей публикации отмечены все наиболее значимые поправки. И читатель, таким образом, сам может оценить смысл и направленность переработки, — в специальных комментариях она, на наш взгляд, не нуждается.

Письмо Цветаевой печатается с сохранением авторской орфографии.

Ирма Кудрова **От публикатора**

В конце 1991 года мне позвонил незнакомый человек. Из телефонного разговора я узнала его имя и род занятий: с 1989 года Виктор Холодков живет в Сан-Диего (Калифорния), где руководит Информационным Центром и справочной библиотекой по русской культуре первой половины XX века. Поводом к его звонку послужила моя статья об А. Эфрон[65]. Прочитав ее, В. Холодков вспомнил, что у него есть несколько документов, имеющих отношение к Цветаевой, в частности — текст черновика ее письма Сталину. Все эти бумаги, по его словам, попали к нему после смерти одного крупного литературного чиновника, в архиве которого находились. Не будучи специалистом в области литературы, В. Холодков поинтересовался, известно ли это письмо цветаевоведам и может ли оно сегодня кого-нибудь заинтересовать. Если да, то он был бы готов безвозмездно передать мне копию цветаевского черновика для публикации.

В начале декабря 1991 года я получила от В. Холодкова копии обещанных документов. Из их содержания стало ясно, как, когда, при каких обстоятельствах цветаевский черновик оказался в руках «крупного литературного чиновника». «Рассекретить» имя этого чиновника не составило труда: Константин Васильевич Воронков, волей случая заняв высокую должность секретаря Союза писателей[66], стал адресатом и хранителем важнейших литературных документов целой исторической эпохи. Среди них оказались и бумаги, о которых идет речь.

В апреле 1967 года, в надежде на «юбилейные» послабления (приближалось 50-летие советской власти), Ариадна Эфрон обратилась в Союз писателей с просьбой «возбудить ходатайство перед Правительством об истинной (курсив А. С. Эфрон) реабилитации»[67] ее отца.

Дело в том, что сухая официальная справка с расхожей формулировкой «за отсутствием состава преступления», выхлопотанная в 1956 году, не могла ее удовлетворить. Дочерний долг требовал большего: «…чтобы он (С. Я. Эфрон — М. К.) встретил 50-летие Советской власти в ряду вечно живых ее борцов». Это было важно, по мнению А. С. Эфрон, не только как акт справедливости по отношению к отцу, но и для будущих биографов Цветаевой. Она писала: «Надо, чтобы в биографиях Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона все встало на свои места <…>, чтобы он не остался в представлении советских людей лишь в виде некоего белогвардейского довеска к цветаевской биографии, или просто прочерка в ней — протяженностью в тридцать лет». Видимо, учитывая значимость имени Цветаевой, признанной к тому времени уже официальными литературными кругами, А. С. Эфрон приложила к своему письму копию черновика письма Цветаевой Сталину.

В правом верхнем углу первой страницы перепечатанного Ариадной Сергеевной цветаевского текста есть ее приписка от руки: «Копия черновика письма М. И. Цветаевой Сталину. Послано зимой 1939—40 г. Осталось без ответа. Подлинник — в черновой тетради 1939—40 г.». Эта приписка, как и несколько других ее рукописных пометок, является одним из важнейших доказательств подлинности предлагаемого ниже текста.

Марина Кацева

Обращаюсь к Вам по делу арестованных — моего мужа Сергея Яковлевича Эфрона и моей дочери — Ариадны Сергеевны Эфрон.

Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я — писательница. В 1922 г. я выехала заграницу с советским паспортом и пробыла заграницей — в Чехии и Франции — по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, — жила семьей и литературной работой. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского в газете «Евразия». Вообще — в эмиграции была одиночкой[68].

Причины моего возвращения на родину — страстное устремление туда всей моей семьи: мужа, Сергея Яковлевича Эфрона, дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон (уехала первая в марте 1937 г.) и моего сына, родившегося заграницей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать сыну родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня в последние годы уже не связывало ничто.

Мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз, что и осуществила — вместе с 14-летним сыном Георгием — 8 июня 1939 г.

Если нужно сказать о происхождении — я дочь заслуженного профессора Московского Университета Ивана Владимировича Цветаева, европейски-известного филолога, долголетнего директора быв. Румянцевского музея, основателя и собирателя Музея изящных Искусств — ныне Музея Изобразительных искусств им. Пушкина — 14 лет безвозмездного любовного труда[69].

Моя мать — Мария Александровна Цветаева, урожденная Мейн, была выдающаяся музыкантша. Неутомимая помощница отца по делам музея, она рано умерла.

Вот — обо мне.

Теперь о моем муже, Сергее Яковлевиче Эфроне.

Сергей Яковлевич Эфрон — сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (Лизы Дурново) и народовольца Якова Константиновича Эфрона. О Лизе Дурново при мне с любовью вспоминал вернувшийся в 1917 г. П. А. Кропоткин, и поныне помнит Н. Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия». Портрет ее находится в Кропоткинском музее.

Детство моего мужа прошло в революционном доме, среди обысков и арестов. Все члены семьи сидели: мать — в Шлиссельбуржской крепости, отец — в Вильне, старшие дети — Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон — по разным тюрьмам. В 1905 г. Сергею Эфрону, моему будущему мужу, тогда 12-летнему, уже доверяются матерью ответственные революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново[70] эмигрирует. В 1909 г. кончает с собой в Париже, потрясенная гибелью 14-летнего сына.

В 1911 г. я знакомлюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в московский Университет, на филологический факультет. Но начинается война и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в рядах белых. За все добровольчество — непрерывно в строю, никогда не в штабе. Дважды ранен — в плечо и колено.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет[71].

Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара — у него на глазах: — лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. — В эту минуту я понял, что наше дело — не народное.

Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белой армии, а не красной? Сергей Яковлевич Эфрон это в своей жизни считал — роковой ошибкой. — Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, но многие и многие сложившиеся люди. В «Добровольчестве» он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился — он из него ушел, весь, целиком — и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

По окончании добровольчества — голод в Галлиполи и в Константинополе — и в 1922 г. — переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет, кончать историко-филологический факультет.

В 1923–1924 г. затевает студенческий журнал «Своими Путями», первый во всей эмиграции печатающий советскую прозу, и основывает Студенческий демократический союз — в отличие от имеющихся монархических[72]. Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе «евразийцев» и является одним из редакторов журнала «Версты», от которого вся эмиграция отшатывается. За «Верстами» — газета «Евразия» (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда бывшего в Париже) — про которую эмигранты говорят, что это — откровенная большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются. Правые — и левые. Левые вскоре перестают существовать, т. к. сливаются в Союз Возвращения на родину. (Евразийцем никогда не была, как никем не была, но была свидетелем и начала, и раскола.)[73]

Когда в точности Сергей Эфрон окончательно перешел на советскую платформу и стал заниматься активной советской работой не знаю, но это должно быть известно из его предыдущей анкеты. Думаю — около 1930 г.

В свою политическую жизнь он меня не посвящал. Я только знала, что он связан с Союзом Возвращения, а потом — с Испанией[74].

Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстном и неизменном служении Советскому Союзу. Не зная подробностей его дел, знаю жизнь души его день за днем, все это совершалось у меня на глазах, утверждаю как свидетель: этот человек Советский Союз и идею коммунизма любил больше жизни.

(О качестве же и количестве его деятельности могу привести возглас французского следователя, меня после его отъезда в Советский Союз допрашивавшего:

— М. Efron menait une activit'e sovi'etique foudroyante!

(Г-н Эфрон развил потрясающую советскую деятельность)[75].

10-го Октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Советский Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала — а именно: что это самый бескорыстный и благородный человеке на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании — не преступление, что знаю я его — 1911–1937 — двадцать шесть лет — и что больше не знаю ничего.

Началась газетная травля (русских эмигрантских газет). О нем писали, что он чекист, что он замешан в деле Рейсса, что его отъезд — бегство и т. д. Через некоторое время последовал второй вызов в префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка. — «Да не бойтесь, сказал следователь, это вовсе не по делу Рейсса, это по делу S.» — и действительно показал мне папку с надписью. Я опять сказала, что я никакого «S.», ни Рейсса не знаю — и меня отпустили и больше не трогали[76].

С октября 1937 по июнь 1939 я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической «оказией». Письма его из Советского Союза были совершенно счастливые. Жаль, что они не сохранились, но я должна была уничтожать их тотчас по прочтении; — ему недоставало только одного — меня и сына.

Когда я, 19-го июня 1939 г. после почти двух лет разлуки, вошла на дачу в Болшево и его увидела — я увидела тяжело больного человека. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через пол-года по приезде и вегетативный невроз. Я узнала, что все эти два года он почти сплошь проболел — пролежал. Но с нашим приездом он ожил, припадки стали реже, он мечтал о работе, без которой изныл. Он стал уже сговариваться с кем-то из своего начальства о работе, стал ездить в город…

И — 27 августа — арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя Ариадна Сергеевна Эфрон первая из всех нас поехала в Советский Союз, а именно — 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения. Она очень талантливая художница и писательница. И — абсолютно лояльный человек. (Мы все — лояльные, это наша — двух семей — Цветаевых и Эфронов — отличительная семейная черта)[77]. В Москве она работала во французском журнале Ревю де Моску, ее работой были очень довольны. Писала и иллюстрировала. Советский Союз полюбила от всей души и никогда ни на какие бытовые невзгоды не жаловалась.

А после дочери арестовали — 10-го октября 1939 г. и моего мужа; совершенно больного и изведенного ее бедой.

7-го ноября были арестованы на той же даче семейство Львовых, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в опечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Первую передачу от меня приняли: дочери — 7-го декабря, т. е. 3 месяца с лишним после ее ареста, мужу — 8-го декабря, 2 мес. спустя.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его: 1911–1939 г. — без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут и друзья и враги. Даже в эмиграции никто не обвинял его в подкупности[78].

Кончаю призывом о справедливости. Человек, не щадя своего живота, служил своей родине и идее коммунизма. Арестовывают его ближайшего помощника — дочь — и потом — его. Арестовывают — безвинно[79].

Это — тяжелый больной, не знаю, сколько осталось ему века. Ужасно будет, если он умрет не оправданный[80].

**Протоколы допросов Марины Цветаевой в Префектуре Парижа (1937 год)**

О допросах М. И. Цветаевой осенью 1937 года в Префектуре Парижа до сих пор было известно немногое. Наиболее подробно написал об этом Марк Слоним:

«Во время допросов во французской полиции (Сюрте) она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Расина (она сама потом об этом рассказывала сперва М. Н. Лебедевой, а потом мне). Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь матерым специалистам по эмигрантским делам рекомендовали ее: «эта полоумная русская» (cette folle Russe)»[81].

О том же сама Цветаева лаконично сообщает в письме к Ариадне Берг 26 октября, спустя две недели после побега мужа из Франции и четыре дня спустя после первого допроса в Главном управлении национальной безопасности: «Сейчас больше писать не могу, потому что совершенно разбита событиями, которые тоже беда, а не вина. Скажу Вам, как сказала на допросе: «— C`est le plus loyal, le plus noble et le plus humain des hommes. — Mais sa bonne foi a pu ^etre abus'ee. — La mienne en lui — jamais»[82].

И еще, в письме той же корреспондентке 2 ноября 1937 года: «Что бы Вы о моем муже ни слышали и ни читали дурного — не верьте, как не верит этому ни один (хотя бы самый «правый») из его — не только знавших, но — встречавших. <…> Обо мне же: Вы же знаете, что я никаких «дел» не делала (это, между прочим, знают и в Сюрте, где нас с Муром продержали с утра до вечера) — и не только по полнейшей неспособности, а из глубочайшего отвращения к политике, которую всю — за редчайшим исключением — считаю грязью».

Диалога о вине мужа и о непоколебимой вере в его благородство, который сообщен в письме к Берг, мы не находим в протоколах, тексты которых предлагаются вниманию читателей ниже. Не зафиксированы в этих текстах, разумеется, и «поэтические чтения» Марины Ивановны перед лицом парижских следователей. Это не означает, однако, что то и другое — плод фантазии поэта.

Цветаева, кажется, даже гордилась формулой, которую она нашла, защищая честь мужа от обвинений, которые представлялись ей чудовищным недоразумением и ошибкой. Ведь и в письме к Сталину она повторит свое страстное утверждение почти теми же словами: «Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его: 1911–1939 годы — без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же скажут о нем и друзья и враги».

Напомним вкратце об обстоятельствах конца тридцать седьмого года в Париже. Допросы Цветаевой связаны с полицейским расследованием убийства, совершенного в Швейцарии в окрестностях Лозанны 4 сентября того же года. Убитый оказался советским резидентом Игнатием Рейссом (Порецким), незадолго до того не пожелавшим вернуться в СССР по требованию Иностранного отдела НКВД. О своем отказе Порецкий сообщил в обличительном письме, адресованном в Москву, в ЦК партии большевиков. Сразу же после передачи письма (через Вальтера Кривицкого) в советское полпредство, тут же, в Париже, оно было вскрыто. И как раз в эти дни здесь находился заместитель начальника ИНО НКВД С.М. Шпигельгласс.

Немедленно была создана оперативная группа по розыску скрывшегося из Парижа автора письма. В нее вошли, в частности, Франсуа Росси (он же Виктор Правдин) и Шарль Мартинья, швейцарская подданная Рената Штейнер, француз Пьер Дюкоме, а также русские эмигранты, жившие во Франции, Димитрий Смиренский и Вадим Кондратьев. По утверждению генерала госбезопасности П. А. Судоплатова, в группу входил также болгарский «нелегал» Борис Афанасьев, сразу же после убийства вместе с Правдиным приехавший в Москву.

Что Эфрона не было в те дни в Швейцарии, теперь уже не подлежит сомнению. Но в показаниях, которые дала на первых же допросах Рената Штейнер, имя Эфрона неоднократно упоминалось, хотя и не в связи с «лозаннской акцией», а как человека, который ее завербовал и позже давал эпизодические задания.

Предположение о том, что и Эфрон был среди тех, кто участвовал в убийстве советского «невозвращенца», перешло в уверенность чуть ли не для всего «русского Парижа», когда Сергей Яковлевич внезапно исчез. Это произошло 11–12 октября 1937 года. А 22 октября ранним утром в дом, где жила Цветаева, явились четыре инспектора французской полиции. Предъявив ордер, они произвели в квартире продолжительный обыск и уходя забрали с собой личные бумаги и переписку С. Я. Эфрона. В этот же день состоялся первый допрос Марины Ивановны в парижской Префектуре. Цветаева провела там, по ее словам, целый день, вместе с сыном, с утра до вечера. Естественно, что протокол допроса не отражает и малой доли произнесенного в тот день в стенах солидного учреждения. И все-таки документы представляют для нас несомненный интерес.

Текст допросов дается (в переводе на русский язык) по публикации Петера Хубера и Даниэля Кунци «Paris dans les ann'ees 30. Sur Serge Efron et quelques agents du NKVD» в сборнике: «Cahiers du Monde russe et sovi'etique», XXXII/2/, avril-juin 1991, p. 285–310. Очевидно, что приведенный текст — это ответы Марины Цветаевой на разные вопросы: сами вопросы следователя в публикации Хубера и Кунца не отражены.

**1**

<На бланке:

Министерство внутренних дел

Главное управление

Национальной безопасности

Главный надзор службы криминальной полиции>

Дело Дюкоме Пьера[83] и других, обвиняемых в убийстве и сообщничестве.

Свидетельские показания г-жи Эфрон, урожденной Цветаевой Марины, 43 лет, проживающей по адресу:

65, ул. Ж.-Б. Потэн в Ванве (Сена).

22 октября 1937 года

Мы, Папэн Робер, Комиссар дорожной полиции при Главном надзоре службы криминальной полиции (Главное управление Национальной безопасности) в Париже, офицер судебной полиции, по поручению помощника Прокурора Республики

слушаем г-жу Эфрон, урожденную Цветаеву, родившуюся 31 июля 1894 года в Москве от ныне покойных Ивана и Марии Бернских[84], литератора, проживающую в Ванве, в доме № 65 по улице Ж.-Б. Потэн, которая, приняв предварительно присягу, заявила:

«Я зарабатываю на жизнь своей профессией, сотрудничаю в журналах «Русские записки» и «Современные записки», зарабатываю от шестисот до восьмисот франков в месяц. Мой муж, журналист, печатает статьи в журнале «Наш Союз», который издается «Союзом возвращения»[85] и имеет помещение на улице Де Бюсси в Париже.

Насколько я знаю, муж ходил туда на работу ежедневно с самого основания Союза. Моя дочь Ариадна, рожденная 5 сентября 1913 года[86] в Москве, также работала там[87] художницей. В апреле этого года она оставила эту должность и вернулась в Россию. В настоящее время она находится в Москве и работает в редакции французского еженедельника, выходящего в этом городе, — «Revue de Moscou».

«Союз возвращения», как на это указывает само название, имеет целью помочь нашим соотечественникам, нашедшим убежище во Франции русским эмигрантам, вернуться в Россию. Никого из руководителей этой организации я не знаю, однако год или два назад я познакомилась с неким г-ном Афанасовым[88], членом этой организации, уехавшим в Россию чуть больше года назад. Я его знала потому, что он не раз приходил к нам домой повидаться с мужем. Мой муж был офицером Белой армии, но со времени нашего приезда во Францию, в 1926 году, его взгляды изменились. Он был редактором газеты «Евразия»[89], выходившей в Париже и издававшейся, кажется, в Кламаре или поблизости. Могу сказать, что эта газета больше не выходит. Лично я не занимаюсь политикой, но, мне кажется, уже два-три года мой муж является сторонником нынешнего русского режима.

С начала испанской революции мой муж стал пламенным поборником республиканцев, и это чувство обострилось в сентябре этого года, когда мы отдыхали в Лакано-Осеан, в Жиронде, где мы присутствовали при массовом прибытии беженцев из Сантадера[90]. С этих пор он стал выражать желание отправиться в Испанию и сражаться на стороне республиканцев. Он уехал из Ванва 11–12 октября этого года, и с тех пор я не имею о нем известий. Так что не могу вам сказать, где он находится сейчас, и не знаю, один ли он уехал или с кем-нибудь.

Я не знаю никого из знакомых мужа по имени «Боб»[91], не знаю также Смиренского или Роллэна Марселя[92].

В конце лета 1936 года, в августе или сентябре, я поехала на отдых с сыном Георгием (родившимся 1 февраля 1925 года в Праге) к моим соотечественникам, семье Штранге, которые живут в замке Арсин в Сен-Пьер-де-Рюмийи (Верхняя Савойя).

Супруги Штранге держат по указанному адресу семейный пансион. У них есть сын Мишель[93] 25–30 лет, который занимается литературным трудом. Он живет обычно не в Париже, а у родителей. Не знаю, часто ли он бывает здесь и не знаю, продолжает ли он поддерживать отношения с моим мужем.

Муж почти никого не принимал дома, и не все его знакомства мне известны.

Среди многих фотографий, которые вы мне предъявляете, я узнаю только Кондратьева[94], которого встречала у общих друзей, супругов Клепининых, которые жили в Исси-ле-Мулино, на улице Мадлен Моро, д. 8 или 10. Я встречала его года два назад, когда Кондратьев имел намерение жениться на Анне Сувчинской, работавшей гувернанткой у г-жи Клепининой[95].

Мы с мужем были удивлены, узнав из прессы о бегстве Кондратьева в связи с делом Рейсса.

На одной из фотографий я узнаю также г-на Познякова[96]. Этот господин, по профессии фотограф, увеличил для меня несколько фотографий. Он также знаком с моим мужем, но я ничего не знаю о его политических убеждениях и что он делает сейчас.

Дело Рейсса не вызвало у нас с мужем ничего, кроме возмущения. Мы оба осуждаем любое насилие, откуда бы оно ни исходило.

Итак, как я вам сказала, я знаю только тех знакомых моего мужа, которые бывали у нас дома, и не могу вам сказать, был ли знаком Позняков с мадемуазель Штейнер[97] или с кем-нибудь из тех, чьи фотографии мне были показаны.

Я не могу дать никаких сведений о тех людях, которые вас интересуют.

17 июля 1937 года я с сыном уехала из Парижа в Лакано-Осеан. Мы вернулись в столицу 20 сентября. Муж приехал к нам числа 12 августа и вернулся в Париж 12 сентября 1937 года[98].

В Лакано мы занимали виллу «Ку де Рули» на улице братьев Эстрад. Этот дом принадлежит супругам Кошен.

На отдыхе муж все время был со мной, никуда не отлучался.

Вообще же мой муж время от времени уезжал на несколько дней, но никогда мне не говорил, куда и зачем он едет. Со своей стороны, я не требовала у него объяснений, вернее, когда я спрашивала, он просто отвечал, что едет по делам. Поэтому я не могу сказать вам, где он бывал.

По прочтении подтверждено и подписано

Комиссар дорожной полиции /подпись/

М. Цветаева-Эфрон /подпись/

2

<На бланке, аналогичном предыдущему>

Протокол от 1937 года 27 ноября

Дело Штейнер Рене, Шильдбах[99], Росси[100] и других. Свидетельские показания г-жи Марины Эфрон, урожденной Цветаевой, 43 лет, проживающей по адресу: 65, улица Жан-Батист Потэн в Ванве.

Мы, Борель Робер, Главный инспектор дорожной полиции при Главном надзоре службы криминальной полиции (Главное управление Национальной безопасности), офицер судебной полиции, помощник Прокурора Республики, согласно прилагаемому ниже поручению, исходящему от г-на М. Сюбилла, судебного следователя Верховного суда Лозанны, от 16 сентября 1937 года, переданному нам для исполнения 6 числа ноября месяца старейшиной судебных следователей департамента Сена и касающемуся следствия по делу Штейнер Рене, Росси и других, обвиняемых в убийстве и сообщничестве, вызвали для допроса свидетельницу, которая, предварительно заявив, что она не состоит в родственных или дружеских отношениях с обвиняемыми и не работает на них, и присягнув говорить всю правду и ничего кроме правды, показала следующее:

Меня уже допрашивал 22 октября этого года по поручению следственной комиссии судебный следователь из Парижа г-н Бетейль по поводу политической деятельности моего мужа. Мне нечего добавить к моим первоначальным показаниям.

Муж уехал в Испанию, чтобы служить в рядах республиканцев[101], 11–12 октября этого года. С тех пор я не имею от него известий.

Я знаю, что перед своим отъездом в Испанию он помогал уехать туда своим соотечественникам, выразившим желание служить в рядах испанских республиканцев. Не знаю, сколько их было. Могу назвать двоих: это Хенкин Кирилл[102] и Лева[103].

Подтверждаю, что не знала о том, что муж в 1936 году и начале 1937-го года организовал наблюдение за русскими или другими лицами, при содействии некоей Штейнер Рене, а также Смиренского Димитрия, Чистоганова[104] и Дюкоме Пьера. Мне также не известно, состоял ли муж в переписке с этими людьми.

Не берусь определить, действительно ли текст телеграммы от 22 января 1937 года, фотокопию которой вы мне предъявляете, написан рукой моего мужа.

По вашей просьбе передаю вам 9 документов (письма в конвертах и одну почтовую карточку), написанных рукой моего мужа.

Прочитано, подтверждено и подписано

Главный инспектор дорожной полиции,

офицер судебной полиции /подпись/

М. Цветаева-Эфрон /подпись/

ПРИЛОЖЕНИЕ II

И. Б. Шукст-Игнатова «Воспоминания»

Беседу с Идеей Брониславовной Игнатовой, урожденной Шукст, записала в октябре 1982 года в Сочи скульптор Нина Вельмина, создавшая впоследствии бюст Марины Цветаевой.

Запись этой беседы не вошла в изданный том «Воспоминаний о Марине Цветаевой», напечатанный в 1992 году в Москве в издательстве «Советский писатель». Между тем, на наш взгляд, воспоминания И. Б. Игнатовой очень информативны и вызывают несомненное доверие.

Хронологически они относятся непосредственно к тому периоду жизни поэта, которому посвящена данная книга.

Текст записи Н. Вельминой ранее был опубликован в журнале «Россияне» (1992, 11/12). В нашей публикации воспоминания несколько отредактированы: объединены темы и убраны многочисленные повторы.

Цветаева с сыном поселилась в трехкомнатной квартире видного ученого Б. И. Шукста, уехавшего на север в служебную командировку, поздней осенью 1940 года. Она сняла здесь одну комнату (14 кв. м) и прожила в ней до самой эвакуации, то есть до 8 августа 1941 года.

«Мы жили на Покровском бульваре дом номер 14/5, угол Малого Вузовского переулка, квартира 62. Это был так называемый «второй дом Совнаркома», в нем жили люди, занимавшие видные посты в государстве, — и такие ученые, как мой отец. В эти годы множество жильцов дома уже были арестованы, на нашей лестнице только две квартиры оставались неопечатанными».

Квартира была трехкомнатная. В большой комнате жила сама Идея — или, как ее тогда все называли, Ида Шукст, слева — в комнате поменьше — Марина Ивановна Цветаева с сыном Георгием (Муром), справа — супружеская пара, которая постоянно враждовала с М. И.

Однажды М. И. сказала Иде: «У меня свое везенье — продала янтарь и приобрела квартиру». И. Б. поняла это так, что та продавала свои вещи, чтобы снять комнату в их квартире. Она внесла деньги сразу за год вперед.

Лифтом она никогда не пользовалась, а квартира Шукстов была на шестом этаже. Вообще не любила никаких машин. Боялась переходить дорогу.

Какой была Цветаева? Если сказать в целом — смесь гордыни (изредка вдруг всплескивавшей) с полной беспомощностью.

Ида ничего не знала поначалу о своей новой соседке. Но однажды как-то взяла в руки энциклопедию и прочла, что М. И. — поэт, который был известен еще до революции. Это ее очень удивило.

Она была очень прямая, роста выше среднего, примерно 163–165 см. Очень худая, тонкая, узкая, она выглядела старше своих лет. Почти никогда не улыбалась. Одета была чаще всего в простую грубошерстную юбку (всю в сборках), черную блузу. На шее бусы, на руках — скифские браслеты. В облике преобладали мужские черты, вернее, мальчишеские, резкие движения. Лицо, напоминавшее профили на римских монетах. С другой стороны, было в лице и что-то будто скандинавское. И — ни кровинки, оно казалось восковым. Узкий нос, сухие неподвижные губы. Никакой косметики. Глаза очень светлые и какие-то беспомощные. Временами она напоминала большую птицу — движениями. Одежда всегда аккуратна, в облике — неизменная подтянутость.

Той Марины, что на давних фотографиях, — с челкой и пышными волосами — уже не было.

Характерна для нее была постоянная устремленность куда-то, напряженность, как у стрелы.

Мур был высокий, крупный, полноватый. Ходил всегда в вельветовом костюмчике, привезенном из Франции, всегда чистенький, обстиранный. М. И. показывала мне фотографии маленького сына, там он курчавый и какой-то весь розовый. Мур казался Иде неоформившимся юнцом, несмотря на свой рост и крупность.

А М. И. — твердыней. Она была очень строга с сыном, проверяла каждый его шаг. Однажды Мур очень хотел пойти на день рождения какой-то одноклассницы, но мать ему не разрешила. То ли она боялась, то ли по каким-то другим причинам явно не хотела его сближения «с этими советскими». (Может быть, оберегая этих «советских»?)

Сын никогда не был резким с матерью, грубых тонов от него Ида не слышала ни разу. Марина очень его любила, но любовь ее никогда не выражалась в ласке.

«Мама — отец», — так говорил о ней Мур. Марина крепко держала его в руках. Никакой мягкости! Повелительные интонации. И множество запретов. Характеры. их были явно разномасштабные…

Ни в какой степени Мур не мог влиять на мать, ни в чем. Может быть, потом он стал другим, но тогда был перед ней всегда — ребенок, несмотря на свой высокий рост.

Странной показалась Иде история со стиральной резинкой. Из Парижа они привезли много всяких необычных для нас мелочей. В том числе несколько необычных стиральных резинок, трехслойных. Одну из них Мур взял в школу и потерял. И М. И. очень на него рассердилась из-за такого пустяка…

Разговорчивой М. И. трудно было назвать. Но, конечно, все-таки она разговаривала с Идой, а иногда даже что-то как будто в М. И. прорывалось, и она говорила много, охотно и искренне. Чаще они разговаривали, когда Мур был в школе.

Она рассказала, как была однажды, в 20-е годы, у Маяковского в РОСТА. Пришла к нему, а у него на каждом колене — по девчонке. Он встал, поцеловал ей руку, девчонок расшвырял, как котят. И Марина показала жестом — руки врозь — «как котят». А с ней он поздоровался очень почтительно.

Ида училась в той же школе, что и Мур, но она была старше. Зимой 40-41-го годов Мур был в восьмом классе, а Ида уже в десятом. Сначала это была школа № 167. Потом и Иду и Мура перевели в другую школу, которая была ближе к дому, на углу Покровского бульвара.

В классе, говорит И. Б., к Муру хорошо относились. Им интересовались девочки. Он сказал однажды: «Идочка, я совсем не понимаю нашу учительницу французского языка, когда она говорит по-французски, — вдруг она мне двойку поставит?…» (Таково было, видно, прекрасное произношение учительницы, никогда во Франции не бывавшей! — И. К.)

Однажды позвонил к ним домой по телефону преподаватель математики из школы и долго говорил с М. И. Говорил он очень почтительно — наверное, знал, кто она такая. И вдруг М. И. резко прерывает его и говорит с вызовом: «Ну что ж, ему математика совсем и не нужна! Я вообще никогда ничего в ней не понимала и не понимаю, однако мои друзья вовсе не считают меня из-за этого дурой!» Видимо, учитель сказал ей что-то о том, что Мур не справляется с программой по его предмету…

Она была вся как натянутая струна. Психическое ее состояние было предельным, напряженность невероятной. Внешне она была сдержанной, скрытной — и, может быть, именно это потом и сказалось. Все тяжелое она держала в себе будто за внутренней решеткой, и от этого сильнее мог быть срыв — как результат эмоционального, психического истощения. Когда с Муром у них случались конфликты, М. И. иногда кричала. Она не всегда могла оставаться уравновешенной. Но когда они ссорились, говорили всегда по-французски.

Еда у них была всегда, они не голодали. Но пища была крайне простая. Ели часто гречку-продел, каша из нее получалась какая-то синеватая, казалось, что ее трудно было проглотить. Но они оба ели ее по утрам. Иногда М. И. покупала полуфабрикаты — отбивные котлеты, изредка мясо и куру.

М. И. постоянно пила кофе, кофейник всегда стоял в кухне на плите. Она говорила: «Гете пил кофе, не переставая, — и у меня такая привычка…»

Кроме еды, они ничего не покупали.

Стирала М. И. не обращая внимания на праздники, что очень удивляло Иду. Что на Первомай, что на Рождество.

В их комнате был. чудовищный беспорядок. Сама М. И. не придавала этому значения, но если кто-нибудь приходил к ней, она принимала гостей в комнате Иды, где было прибрано.

Ссоры с соседями были из-за уборки в квартире. Ида думала, что М. И. просто по близорукости не видела пыли и плохо подметала, да и вообще уборки не любила. Они с соседкой старались занять на кухне каждая все четыре конфорки газовой плиты. Но стоило Иде поставить рядом свой чайник, каждая стучала ей в дверь: «Идочка, у меня как раз освободилась конфорка…»

Единственная семья, с которой М. И. поддерживала регулярную связь, — семья Е. Я. Эфрон. М. И. называла сестру своего мужа просто Лилей. Лиля никогда не бывала у М. И. в гостях, но они почти ежедневно разговаривали по телефону.

Гости бывали нечасто. То было время, когда от нее все отвернулись, боялись ее. Она ведь была из-за границы, общаться с ней было опасно. И она еще и держалась соответственно. Но любое проявление внимания к ее прошлому ее явно трогало.

Ида не помнит ни одной женщины в гостях у М. И.

Но приходил к ней некий мужчина — по делам переводов, кажется, довольно часто. Он жил где-то в районе Петровки, там, где церковь, вблизи бульвара. Идея относила ему однажды какую-то книгу от Марины. Это был высокий человек, скорее брюнет, лет сорока, как казалось Иде. Ида думает — не Миндлин ли это был? (Не был ли это скорее Арсений Тарковский? — И. К.) Если он не заставал Марину, то проходил в комнату Иды и там ждал. Однажды М. И. надо было что-то писать или переводить, связанное с Шекспиром, и он сказал: «Приходите, я дам вам эту книгу…»

Еще приходил молодой человек, лет двадцати, интеллигентный, она называла его «мой московский паж». Брюнет, небольшого роста, хорошо одетый. Юноша выполнял ее поручения, ходил за нее в редакцию и прочее в том же роде. Он был явно заинтересован в М. И. и ходил к ней не по делам.

Однажды Марина Ивановна сказала: «Идочка, ко мне приходил Асеев». Это ей, похоже, льстило.

В это время Завадский ставил «Бесприданницу». Он принес ей билеты, и она пошла на спектакль вместе с Муром. Завадский тогда только что женился на Улановой. М. И. об этом рассказывала Иде, как и о постановке. Ей явно хотелось в тот раз поделиться впечатлениями, что случалось не так часто. Было видно, что ей приятно об этом говорить.

Как-то, еще до начала войны, Марине кто-то прислал много цветов — срезанных и в горшках. М. И. попросила Иду поставить их в свою комнату, прибавив. — как показалось Иде — даже как-то горделиво, что цветы ее совершенно не интересуют…

Началась война. С этого момента Ида редко ночевала дома. Она работала в Институте переливания крови и часто оставалась там на ночь, вдвоем с подругой Таней Соколовской — та жила где-то около Подсосенского переулка. Они вместе работали в Институте, на Новинском бульваре, упаковывали кровь.

С началом войны напряжение М. И. заметно усилилось. Она стала еще более настороженной, закаменевшей. Она говорила Иде: «Вот, в Париже жила — война была, сюда приехала — тоже…» (Может быть, речь шла о Германии, которая тогда поглотила Чехословакию, а теперь напала на Россию? — И. К.)

Иде кажется, что Мур вовсе и не дежурил на крыше, не тушил там зажигательных бомб, — что мать его туда не пускала.

Однажды бомбежка застала Иду не в Институте, а дома. И потому она оказалась в бомбоубежище вместе с М. И. Убежище было и в их доме и в соседнем.

Люди вели себя там по-разному. Кто все время охал, кто спал. А М. И. как села, так и просидела все время в напряженной позе, прямая как стрела. Вид ее был ужасен: руки вцепились в колени, взгляд остекленевший, немигающий. А Мур был спокоен, даже спал. Идея постаралась больше не ходить в убежище вместе с М. И., она совершенно не могла тогда смотреть на нее. Нечто патологическое, кажется Иде, было тогда в ее облике.

М. И. все время боялась, что убьют Мура, — и, видимо, боялась ареста. Боялась подходить к телефону. Когда он звонил, она вся напрягалась. Ждала, кого зовут, спрашивала: зачем?

Время было такое, что если у кого-то арестовывали домашних, то сами звонили своим знакомым, чтобы предупредить и чтобы те больше не звонили и не приходили. Чтобы их оградить от тех же переживаний.

Видно было, что Цветаева все время сдерживается, — но никаких взрывов, никакой разрядки! И напряжение все нарастало, очень мало уже было нужно, чтобы наступила трагедия.

Однажды пришел в квартиру управдом. Марина Ивановна как встала у стены в коридоре, раскинув руки, как бы решившись на все, напряженная до предела, так и простояла все время, что он был. Он уже ушел, а она все еще так и стояла. А оказалось, он приходил проверить затемнение, только и всего.

Окончив школу в июне сорок первого, Ида подала заявление в ИФЛИ. Институт эвакуировали в Алма-Ату, а первый курс распустили вообще. Отец приехал тогда в командировку в Москву. Он собрал дочери рюкзак и отправил в эвакуацию — к мачехе, в Чувашию. (Сам отец жил где-то за Кандалакшей. Потом он был там арестован и вскоре умер. Родная мать Иды жила в Ленинграде.)

Марина Ивановна уехала в эвакуацию еще до отъезда Иды, в начале августа. Она говорила, что ее везут вместе с Союзом писателей в Казань — Пермь — Елабугу. Но уехали они, когда Иды не было дома, — в этот день она была в Институте переливания крови.

В комнате М. И. не осталось никаких вещей. Ида думала, что все забрали с собой.

Летом 1942 года[105] мачеха Иды ездила в Москву и случайно встретила Мура, — неясно, где. Мур спокойно сказал: «Марина Ивановна повесилась». Жил он тогда, вероятно, у Лили Эфрон.

Ирма Кудрова «Загадка злодеяния и чистого сердца»

Статья Цветаевой «Пушкин и Пугачев» (1937) написана пером, как бы еще не остывшим от только что законченной прозы «Мой Пушкин». Она явственно сохраняет следы этого разгона. Тема разворачивается, как всегда у Цветаевой, с чисто личных (а здесь еще и детских) впечатлений, — чтобы затем незаметно перейти к темам, далеким и от детства и даже от Пушкина.

С первых же абзацев Цветаева признается, что воображение ее с ранних лет гипнотически притягивала к себе фигура Пугачева. Не исторического, а пушкинского Пугачева, Вожатого из «Капитанской дочки». Пушкин создал в этой повести, пишет Цветаева, «самого неодолимого из всех романтических героев», сравнимого только с Дон Кихотом, «праотцем всех романтических героев». Этот Пугачев — злодей, но он же «стихия, не знающая страха. Что мы первое и последнее чувствуем, когда говорим «Пугачев»? Его величие». Пугачев «Капитанской дочки», говорит Цветаева, «сплошная благодарность и благородство, на фоне собственных зверств постоянная и непременная победа добра. Весь Пугачев «Капитанской дочки» взят и дан в исключительном для Пугачева случае — добра, в исключительном — любви». Это Пугачев «доброты, широты, пощады, буйств — и своей любви». Пушкин дал нам «своего Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить, не можем не любить»[106].

«Капитанская дочка», по Цветаевой, есть прежде всего история любви — но не Гринева с Марьей Ивановной, а Гринева и Пугачева. Тщательно, неторопливо анализирует Цветаева текст повести, чтобы доказать нам, что все благодеяния Пугачева по отношению к Гриневу невозможно объяснить чувством благодарности за заячий тулупчик. Это не просто благодарность, а настоящая одержимость человека, вдруг воспылавшего «отцовской любовью к невозможному для него сыну»; «влечение сердца», «любовь во всей ее чистоте» — вот что это такое. «Черный, полюбивший беленького. Волк — нет ли такой сказки? — полюбивший ягненка». Только эта любовь и делает возможными, утверждает Цветаева, все бессчетные дары Пугачева Гриневу — от помилования до прощения обмана и дарования свободы вместе с капитанской дочкой.

Но и Гринев любит самозванца, настаивает автор статьи, — «всей обратностью своего рождения, воспитания, среды, судьбы, дороги, планиды, сути». Любит «сквозь все злодейства и самочинства, сквозь все и несмотря на все».

Никакие разумные соображения, кажется, не могут объяснить нам такой любви. И, оставив в стороне разумные соображения, Цветаева обращается за объяснением к другой реальности, внеразумной — но оттого, в ее глазах, не менее реальной. Эта мощная реальность принадлежит к тем силам бытия, которые исходно составляют его природу. «Есть одно слово, — читаем мы в эссе, — которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое одно объясняет — все. Чара». «От Пугачева на Пушкина — следовательно и на Гринева — следовательно и на меня шла могучая чара… Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить — никакая благодарность не заставит. А чара — и не то заставит ‹…› скроет от тебя все злодейства врага, все его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь».

Чара — вещь труднообъяснимая, но из текста цветаевского эссе проясняются ее составляющие, — по крайней мере, применительно к данному случаю. В Пугачеве «Капитанской дочки», говорит Цветаева, соединились чара стихии, не знающей страха, и чара героя, обреченного на гибель, и чара мятежа. Но вот, кажется, главное: «В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром, всю свою самосилу (зла) перекинувшего на добро». Это особенное очарование и притягивает юного Гринева к мятежнику, считает Цветаева, ведь в Пугачеве еще жива душа, способная к порывам милосердия…

И здесь, оторвавшись от текста эссе, мы вдруг вспоминаем… Черный, полюбивший беленького?… Нет, беленькую, и беленькая, обольщенная добротой злодея. Злодей, всех загубивший, одного полюбивший?… Да ведь это сюжет цветаевского «Молодца»! Поэмы, созданной еще за пятнадцать лет до «Пушкина и Пугачева». Какая, однако, стойкая приверженность к мотиву. Что стоит за ней?

Поэму «Молодец» Цветаева задумала и начала писать еще в России, до отъезда за границу. В первые же месяцы в Чехословакии, осенью 1922 года, вернулась к работе над ней и, завершив, так сообщила об этом Борису Пастернаку. «Только что кончила поэму (надо же как-нибудь назвать!) — не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, — расстались, как разорвались!»[107]

Своего «Молодца» Цветаева особенно любила. Она перевела его на французский язык (единственную из своих поэм) и надеялась издать во Франции отдельной книжкой с иллюстрациями известной художницы Натальи Гончаровой. Увы, издание не осуществилось.

В сюжетную основу поэмы легла русская народная сказка «Упырь». В записи Афанасьева эта сказка совсем не из самых страшных. Подробностей в ней мало. Сюжет рассказан как бы скороговоркой, кончается она благополучно, и испугаться просто не успеваешь. Цветаевский же «Молодец», если прочесть его разом — а поэма большая! — полон леденящего ужаса. Не знаю, читают ли это произведение с эстрады, а должны бы: поэма просто рассчитана на чтение вслух; чуть ли не главная ее магия — в звучании.

Поразительны ритмы поэмы, завораживающие, все время меняющиеся, будоражащие нашу звуковую память. Ритмы бешеной пляски, доводящей до головокружения, укачивающие такты колыбельной, вкрадчиво-настойчивые ритмы заговора-заклинания перемежаются ритмом стремительного бега запряженной тройки, — да еще с врывающимися невнятными шелестами вокруг саней:

— По-метелилось,

— При-мерещилось!..[108]

Кажется порой, что вся поэма стоит на этой неуверенности — и нашей и героини поэмы Маруси: чудится или вправду? Есть тут кто или нет? Чей это голос — врага или друга, добра или зла?

— По-морозилось,

— При-мерещилось!..

Сам воздух поэмы будто пронизан мороком, в который попадаем и мы, читающие, вместе с героиней. Некуда укрыться, не на что опереться, все вокруг шатко и ненадежно. Но не только ритмы вовлекают нас вовнутрь морока, — еще и смена их, и рефрены, и недоговоренности:

Не одну твою жызтъ

В руках, сердце, держу.

Вчера брата загрыз,

Нынче мать — загры —

Недосказанное звучит в наших ушах громче иерихонских труб, — и как раз потому, что внутри нас звучит, мы сами его произносим. К этому особенному эффекту недосказанности Цветаева прибегает в поэме многократно.

Любовь Маруси к молодцу, оказавшемуся оборотнем, любовь самого молодца, готового погибнуть, лишь бы спасти любимую, кроткая любовь к Марусе ее матери, любовь мужа, безрассудно обрекающего жену на гибель, — все эти Любови словно окружены в поэме мощным дыханием неких слов, образующих неодолимый водоворот. И вместе с доверчивой, мягкой, чистой Марусей мы в него попадаем. Страшный сон пушкинской Татьяны меркнет перед этим мороком цветаевского «Молодца» — хотя бы уже потому, что в том сне вся жуть воплощена все-таки в конкретных образах, — здесь она словно растворена в самом воздухе поэмы.

«Сила слова, — писала Цветаева в «Поэте-альпинисте», — в степени его пресуществления в вещество являемого». И далее, не удостаивая разжевыванием, поясняла: «Море пишется морем и гранит гранитом, каждая вещь своим же веществом, посредством основной его функции»[109]. А вот ее характеристика «Гимна Чуме» в пушкинском «Пире во время чумы»: «Языками пламени, валами океана, песками пустыни — всем, чем угодно, только не словами написано»[110].

Борис Пастернак в одном из писем к Цветаевой говорит о некоторых эпизодах другой ее поэмы «Крысолов». Он особенно выделяет «ошеломляющую по своей воплошенности крысиную фугу»: «Просто кажется, что ты срисовала одновременно и крысиную стаю и отдельных пасюков и свела этот рисунок на сетчатку ритма, ниткой отбив по ней, к хвосту, к концу, это накатывающее, близящееся, учащающееся укороченье! Ритм похож на то, о чем он говорит, как это редко ему случается. Похоже, что он состоит не из слов, а из крыс, не из повышений, а из серых хребтов» (письмо от 2 июля 1926 г.)[111].

Вот так же написан был и «Молодец» — как бы «самим веществом» стихии. Перед нами не поэтическое повествование о наваждении, погубившем юную Марусю, но нечто вроде документальной звуковой записи самой стихии. Мы слышим ее глухой рокот, то приближающийся, то затихающий, ее шелесты, ее гул…

Есть эпизоды в поэме «Молодец», которые явно перекликаются с другим поэтическим произведением, возникшим, по выражению Цветаевой, «под чарой революции». Таков эпизод дороги, когда Маруся с мужем едет в Божий храм. Он начинается с вьюги, и кажется, что вместе со свистящей, завывающей вьюгой включились знакомые уже нам мотивы:

Вьюга! Вьюга!

Белая голуба!

Бела — вьюга!

Бела, белогуба!

Уж и вьюга!

Ни друга, ни дуба!

Пуши, вьюга,

Бобровую шубу!

Чуть позже начинают звучать частушечные ритмы, соединяющие разудалость со стихией разрушения, — и память снова непроизвольно подсказывает знакомое: «Запирайте етажи! Нынче будут грабежи!» Гуляет, правда, у Цветаевой другая удаль: барская, другой разгул: барской прихоти и всевластия. «Цветаева не полемизирует с «Двенадцатью» Блока; скорее, дает еще один лик той же стихии:

Уж мы баре народ шустрый!

Держись, Марья! Моя Русь-то!

На своем селе мы — царь!

Захотим — с конем в алтарь!

С ко-нем, с саня-ами!

С воз-ком, с коня-ами!

Чья кладка? — Барская!

Доглядка? — Барская!

Вали, троечка, без дум!

Наше золотце — чугун!..

В сюжет народной сказки Цветаева внесла существенные изменения; проследим за ними, чтобы лучше выявить акценты авторского замысла.

Первое. В сказке все зло безоговорочно воплощено в молодце-упыре. В поэме темные силы наваждения, во власть которых попадает Маруся, рассредоточены, — и это делает их куда неодолимее. То они воплощаются в подружек, силком подталкивающих Марусю к молодцу, когда она еще пытается спрятаться, узнав его тайну, то они вселяются в гостей, подбивших Марусиного мужа нарушить клятву и исчезающих с петушиным криком, — а в сказке это попросту подвыпившие соседи. Даже нищие на церковной паперти к концу поэмы подозрительно напоминают оборотней…

Далее. Каждую из трех смертей (в поэме — брата, матери и самой Маруси) Цветаева разворачивает в эпизод. В сказке же о них говорится почти скороговоркой: «Вернулась домой Маруся еще печальнее, переночевала ночь, поутру проснулась — мать. лежит мертвая»[112]. В поэме это самый страшный эпизод: смерть Марусиной матери. Ее мольбы, ее страх, ее призыв: «Доч-ка! Доч-ка!», многократно повторенный, леденит душу. И тем самым ощущение преступления, в котором героиня поэмы уже не только жертва, но и соучастница, в нас, читающих, резко усилено. Высший момент жути, какая не снилась русской народной сказке, — Марусин отклик: «Сплю, не слышу, сплю, не слышу, матушка!..»

Но самое существенное изменение коснулось молодца. У Цветаевой он сам, оказывается, зачарован злой силой! И еще одно, совсем неожиданное: он всем сердцем полюбил Марусю. Он любит ее самоотречение, умоляя назвать его — и тем разрушить чары; пусть он погибнет, а она спасется. Но в сказке нет и намека на такую ситуацию! У Цветаевой:

До сердцевины,

Сердь моя, болен!

Знай, что невинен,

Знай, что неволен!

Сам тебе в ручки,

Сердце, даюсь!

Крест мне и ключ мне:

Ввек не вернусь!

Мольба эта звучит в поэме в канун смерти Марусиной матери: то есть молодец даже не за жизнь любимой испугался, а за ее гибнущую душу! И именно молодец творит последнее заклятие над умирающей Марусей, чтобы дать ей надежду на исцеление от злых чар; в сказке это было делом рук Марусиной бабки. Заклиная, он утешает любимую: «В царстве небесном — овцы все целы! Спи, моя белая! Больно не сделаю!»

Странный нечистый! Он и в самом деле куда больше похож на доброго молодца, только заколдованного злыми силами. Нечистый, очарованный чистотой Маруси. Черный, полюбивший беленькую… Зло, на минуту ставшее добром, всю свою силу перекинувшее на добро… Для всех злодей, для Гринева… то бишь для Маруси — друг, себя не щадящий. Да, но если таков молодец, каково же Марусе сказать слово, от которого он в прах рассыплется, ввек не вернется! Впрочем, Маруся и не стоит в поэме перед волевым выбором: брат или молодец, мать или молодец. Воля ее парализована злой чарой, она в столбняке ужаса, она сама себе не принадлежит… Какова степень ее вины? Это решение оставлено за читателем.

[A](http://fanread.ru/book/9018949/?page=27)   [A+](http://fanread.ru/book/9018949/?page=27)   [A++](http://fanread.ru/book/9018949/?page=27)

[Читать](http://fanread.ru/book/9018949/#read)

[Читать](http://fanread.ru/book/9018949/#read)

[Скачать](http://fanread.ru/book/download/9018949/)

[Cкачать](http://fanread.ru/book/download/9018949/)

Изменила Цветаева и концовку сказки: в «Упыре» Маруся в конце концов освобождается от чары, окропив молодца святой водой. В поэме она взмывает навстречу любимому и летит с ним — «в огнь-синь».

Так в расстановку сил, действующих в поэме, оказывается включенной великая сила любви; в сказке она и не названа. И на протяжении всей поэмы мы следим в сущности за поединком: любви и морока. Не случайно поэма названа «Молодец», а не «Маруся»: именно с молодцем-оборотнем любовь совершает свои преображающие чудеса.

Эти акценты, внесенные в народную сказку, ярко высвечивают проблемы, волновавшие Цветаеву на протяжении многих лет.

В эссе «Пушкин и Пугачев» она назвала одну из них так: «неразрешимая загадка злодеяния — и чистого сердца». Ибо ведь и в Пугачеве «Капитанской дочки» Цветаева видит «околдованность», захваченность силами стихии! Оттого-то он и оказывается, в отличие от героя пушкинской же «Истории Пугачевского бунта», «какой-то зверский ребенок, в себе неповинный, во зле неповинный». «Знай, что неволен, знай, что невинен», — вспоминаем мы монолог оборотня в поэме; не оправдывая своих злодеяний, он открывает здесь Марусе главную свою тайну. В сущности, и в «Молодце» мы сталкиваемся с «загадкой злодеяния и чистого сердца»; даже в удвоенном варианте: как молодец виновен и невинен во зле, так и Маруся чиста сердцем и преступна одновременно. Но и сама маленькая Марина Цветаева, завороженная двуликим Вожатым, оказалась (по ее версии, вместе с Пушкиным) в роли Маруси. Притяжение мощной стихии, обретающей — пусть на миг! — лицо добра, есть сила, противостоять которой очень трудно. И этой-то силой чары, пишет Цветаева, «весь Пугачев нам вопреки разуму и совести Пушкиным внушен».

Итак, перечислим эти притягательные для Цветаевой мотивы: подвластность человека иррациональным стихиям бытия, могущество этих стихий, загадка злодеяния и чистого сердца, — то есть проблема личной вины человека, попадающего во власть наваждения.

Не знаменательно ли, что впервые эти мотивы зазвучали под пером поэта в годы революции и гражданской войны? «В дни, когда Мамонтов подходил к Москве» (так гласит авторский комментарий), Цветаева написала стихотворение, смысл которого — заступничество (перед лицом возможных победителей) за тех, кто попал в водоворот чары-стихии:

Царь и Бог! Простите малым —

Слабым — глупым — грешным — шалым,

В страшную воронку втянутым,

Обольщенным и обманутым, —

Царь и Бог! Жестокой казнию

Не казните Стеньку Разина!

….

В отчий дом — дороги разные.

Пощадите Стеньку Разина!..[113]

Еще раньше, весной 1917 года, был создан цикл стихотворений «Стенька Разин». Но есть и еще один персонаж, с которым мы встречаемся в ранней цветаевской прозе (написанной по материалам дневников) — в «Вольном проезде». Это красноармеец из продотряда, встреченный Цветаевой на станции Усмань Тамбовской губернии. Светловолосый молодой парень охотно и доверчиво рассказывает о себе. Васильковая синь глаз, сердечная открытость, способность завораживаться стихами, преданная любовь к отцу. Два Георгия на груди: в бою спас полковое знамя. А в Одессе потом грабил банк. Мы так и не узнаем его подлинного имени — в очерке он назван условно: опять-таки Стенькой Разиным. В глазах Цветаевой этот «Стенька» — истинно российская душа, восприимчивая к стихам, готовая и к самопожертвованию и к разбою, способная к бескорыстию и к насилию, открытая добру и злу. Забыв всяческую рознь, Цветаева любуется человеком, наделенным щедростью сердца и отзывчивостью на прекрасное.

Оправдан ли тем самым «Стенька», участвующий на стороне большевиков в жестокой и кровавой войне против собственного народа? Вовсе нет. Но ведь он и не понимает, в чем участвует. Ибо его втянуло в водоворот стихии революции, он обольщен ее чарой, ее «оборотом добра», — на знамени-то ее написаны прекрасные лозунги о мировой справедливости и всеобщем счастье. Нет, ничего этого Цветаева прямо не формулирует. А все-таки в «Вольном проезде» читатель уже поставлен перед «загадкой злодеяния и чистого сердца». И здесь сливаются воедино вина и беда человека, поддавшегося мощной стихии. Перед той же, в сущности, загадкой остановился и Александр Блок, создав свои «Двенадцать»…

Поэтическое воплощение иррациональной стихии Цветаева впервые осознанно дала в поэме «Переулочки» (весна 1922 года). Поэма оказалась своего рода репетицией к «Молодцу». Может быть, не слишком удачной, но важен сам факт подступа к теме, которая отныне будет с редкостной настойчивостью возникать в цветаевском творчестве. У темы — разные грани, ее присутствие не всегда так обнажено, как в «Молодце». Но мы без натяжек найдем ее особые повороты и в лирике и в прозе, даже в драматургии. Так, классический образ Федры (1926) решительно трансформирован Цветаевой с единственной — как представляется — целью: подчеркнуть ее «держимость» в сетях чары — морока — стихии. Напрочь лишенная низких страстей, цветаевская Федра — это трепетно-робкая юная женщина с нежной душой и самоотречение любящим сердцем. Обманутая кормилицей, она почти насильственно втянута в водоворот наваждения, и ее самоубийство выглядит скорее самоказнью обманутой жертвы…

А ради чего взялась Цветаева за эссе «Два лесных царя» (1933 год)? Где главный акцент сравнения, которое она здесь так скрупулезно проводит: сравнения баллады Гете «Erlkonig» и перевода ее, сделанного более века назад Жуковским? Акцент очевиден: автор стремится подчеркнуть в оригинале реальность ирреального, то, что исчезло под пером Жуковского. В трактовке Цветаевой лесной демон, обольщающий мальчика, — вовсе не бред больного. Это — живое видение, непостижимое нечто, зачаровывающее и забирающее себе душу ребенка. Так это в гетевской балладе или не так, нам сейчас не важно. Важно, что автор настаивает: «Видение Гете целиком жизнь или целиком сон, все равно, как это называется, раз одно страшнее другого, и дело не в названии, а в захвате дыхания. Что больше-искусство? Спорно. Но есть вещи больше, чем искусство. Страшнее, чем искусство»[114]. Этими не слишком внятными словами эссе заканчивается.

«Это уже не искусство. Это больше, чем искусство» — такое утверждение мы найдем и в другом цветаевском эссе — в «Искусстве при свете совести» (1932). Здесь приводятся стихи маленьких детей и стихи некоей безвестной монашки — непрофессиональные стихи, но, как пишет Цветаева, они говорят «одно, об одном, вернее, одно через них говорит»[115]. Опять от более внятной формулировки автор уходит. И все же достаточно ясно, что всякий раз, когда Цветаева прибегает к выражению «это больше, чем искусство», она хочет сказать о силах, прорывающихся в творческий процесс помимо воли художника. Это могут быть волны добра и света, как в стихах детей или монашки, но это могут быть и совсем другие волны, вроде морока в поэме «Молодец».

В «Искусстве при свете совести» речь идет о поэте и творческом процессе. Тут множество поворотов темы, я выделю лишь некоторые. «Состояние творчества есть состояние наваждения. Пока не начал — obsession[116], пока не кончил — possession[117]. Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто он? То, что через тебя хочет быть…»[118]. Через истинного художника, сказано здесь, «выговариваются» стихии. Без способности прислушиваться к ним и пропускать их через себя — нет поэта. «По существу, — сказано в другом месте того же эссе, — вся работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного (не собственного) задания»[119]. И вполне закономерно, что поэт (оказываясь в роли околдованной Маруси) во всей «чистоте сердца» может создать произведение отнюдь не ангельского толка. Он несет за это ответственность. Но это уже другая сторона вопроса, который и стоит, собственно, в центре эссе.

В мою задачу не входит разбор этой интересной работы. Упоминая ее среди других произведений, я только еще раз обращаю внимание на одну из важнейших сторон мироощущения Цветаевой. А именно: на ее последовательную убежденность в тесной связи человеческого существования с иррациональными силами бытия. Это ее глубинное кредо — и оно не могло не оказать сильнейшего влияния на творческие импульсы художника. Это проявилось и в возникновении некоторых замыслов-«сюжетов», и в трактовках характеров, жизненных явлений и ситуаций.

Два источника питают напряженный интерес Цветаевой к коллизии «человек и стихии». Я бы назвала их так: убежденный и прирожденный.

Остановимся на первом.

В очередной раз Цветаева проявляет здесь свою обостренную чувствительность к болевым точкам современности, к сокровенным процессам, которые рождались и созревали в воздухе времени. В этой связи надо напомнить читателю, что в начале XX века о стихиях — природных, социальных и тех, что живут в подсознании человека, — охотно писали и говорили в разных собраниях. В этом факте сказались причины многие и разные: вспомним, что на это время падает увлечение русского общества Достоевским и идеями Ницше, а чуть позже Фрейдом.

Не вдаваясь в подробности, назовем имена трех современников Цветаевой — Вячеслава Иванова, Андрея Белого и Александра Блока. То были три безусловных авторитета в ее глазах, и каждому из них — заметим — она так или иначе воздала дань в своем творчестве. Первый увлеченно и неутомимо писал о «плодоносном хаосе» древних, о стихиях, о Дионисе и «дионисийском начале» в искусстве. Андрей Белый упорно размышлял о соотнесении стихийного и сознательного в современном человеке, о страшных силах подсознания, игнорировать которые опасно. На них, считал он, должно смотреть открыто и пристально, — дабы уменьшить опасность гибельного взрыва, выхода «из берегов сознательности». В 1913 году Белый сформулировал мысль (в одном из писем Иванову-Разумнику), которая была для него чрезвычайно важна: «Сознание, органически соединившееся со стихиями и не утратившее себя в стихиях, есть жизнь подлинная»[120].

В поэзии начала века сильнее, чем кто-либо, воплощает «стихийное» Александр Блок. В его лирике мощно звучит эхо душевных бурь, а в поэме «Двенадцать» — стихия революции. Известны настойчивые обращения Блока к теме стихий и в статьях.

В самом типе поэтического таланта и в мироощущении Цветаева обнаруживает особенную близость именно к Блоку, — перещеголяв его как раз в последовательности (и, пожалуй, мастерстве), с которой она «вводила стихии» в образную ткань своих стихов и поэм. Ею, несомненно, были услышаны и пафос Вяч. Иванова, и предостережения Белого.

При всем том «веяния времени» она пропускает через себя избирательно, сквозь «цедкие сита» собственных наблюдений и оценок, выбирая одни и энергично отталкиваясь от других. И потому, находя в ее творчестве множество перекличек с теми или иными «властителями дум» начала века, опасно торопливо зачислять ее в прямые последователи. Мы всегда обнаружим ее гибкое ускользание из чужих концепций. Откликаясь, она сохраняет независимость, верность собственному чутью. Можно сказать, что она берет там, где находит свое. И каждая ее строка удостоверяет: здесь все кровно выстрадано, все пронесено через живой личный опыт.

И тут вступает в силу еще один существенный фактор. Упрямый интерес Цветаевой к темам, о которых мы говорим, питается не только «духом времени», но и другим источником — глубоко личным.

Ибо люди рождаются на свет с разным зарядом «стихийного начала». И Цветаева с колыбели, кажется, знает о том, что награждена «душой, не знающей меры». С юных лет она пытается обуздывать свои порывы — неистовства, гнева, отчаяния, восторгов, — однако в ранние ее стихи почти не прорывается та раскаленная лава, которую она носит в себе самой. Но вот наступает 1916 год. Уже принято считать, что со стихов этого года (позже составивших сборник «Версты»-I) начинается «настоящая» Цветаева; все ранее ею написанное — лишь разбег к этому важному этапу. Резонное суждение. Но что стоит за ним? Да именно то, что в стихах 1916 года впервые полногласно зазвучала «стихийная» Цветаева. Словно бы некая сила вдруг пробилась из глубины и нашла свое собственное русло. В цветаевские стихи ворвались шквальные порывы и ритмы, гимны и заклятия, причитания и стоны, сменяющиеся внезапно успокоенным и просветленным отливом. Поднимая все шлюзы, Цветаева безоглядно и открыто впустила в свою поэзию стихию необузданных страстей, — словно поставив своей целью создать последовательно выдержанный поэтический «антимир» сдержанной и тишайшей поэзии петербуржанки Ахматовой, в любви к которой она так пылко в этом году расписывалась.

С обретением нового голоса творчество становится для Цветаевой той психологической отдушиной, которая помогает ей справляться с порывами, не находящими выхода в живую повседневность. «Слава Богу, — скажет она позже, — что есть у поэта выход героя…» Она назовет это «экстериоризацией (вынесением за пределы) собственной стихийности»[121].

У молодой Цветаевой еще нет настоящего противовеса этим внутренним бурям. Лишь со временем она найдет его внутри себя, осознав как голос Бога. Но ее личное знание стихийной мощи страстей и наваждений останется с ней навсегда. Отсвет этого личного опыта и падает на все ее творчество.

Цветаевская лирика пронизана грозовыми разрядами страстей, с трудом поддающихся управе. Не случайно, конечно, звучит в ней и защита преступной королевы Гертруды от обличении Гамлета («Не девственным — суд над страстью», — сказано в стихотворении «Офелия в защиту королевы»), и сочувствие к Федре, которую на край бездны выносит чара любви к пасынку. Цветаева их не восславляет, — но оберегает от торопливого осуждения. «Кому судить? Знающему», — сказано в «Искусстве при свете совести». Знающий будет во всяком случае милосерднее в приговоре. И вполне последовательно, что человек, обделенный силой страстей, закрытый от стихий, глухой к живым токам бытия, в глазах Цветаевой — ущербен. У такого человека — бедное сердце и поверхностный ум, он видит жизнь только извне и не способен проникнуть в сокровенные ее глубины. Именно таким предстает нам «интеллектуальный гастроном» — герой поэмы «Автобус», или — в прозе — герой «Флорентийских ночей». Зато в поэтизируемых ею современниках Цветаева всегда восхищается личностью, как бы омытой живыми токами бытия, — таковы Волошин в очерке «Живое о живом», Андрей Белый в «Пленном духе», князь Волконский в «Кедре»…

Впрочем, притяжение к стихийному присуще всякому крупному художнику, — вопрос в том, что у каждого оно имеет свой оттенок, свой особый поворот. Какой он у Цветаевой? В свете сказанного очевидно: цветаевская особость — в сочувственном, милосердном внимании к человеку, который захлестнут стихией и гибнет в ее опасном водовороте.

Здесь нужна, однако, важная оговорка. Пробуждая наше сочувствие к тем, кто попадает под чары наваждения, она говорит всякий раз не о низких страстях, — к ним Цветаева предельно чутка и беспощадна. В нас пробуждают сочувствие прежде всего к страсти самоотреченной, готовой расплатиться собственной жизнью за то — или того, — кто дороже жизни. И чаще всего речь идет о страсти любви. Перед лицом такой любви Цветаева полна сострадания. Ибо безоглядная любовь — это прорыв добра сквозь зло. Это надежда… И потому за сочувствием к тем, кто попадает под власть этих чар, Цветаева готова идти — «в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены, и скрутясь, образуют живую жизнь».

Живая жизнь — сплетенье добра и зла. Дистиллированных чувств и обеззараженных дорог в ней нет. Задача в том, чтобы не утратить критерия, не утратить чувства иерархии, силу стихии не принять за святость — и помнить об ответственности перед высшим судом совести. Попытаться «по ниточке добра» одолеть зло изнутри — вот опасный, но достойный путь. Так Волошин в цветаевском очерке «Живое о живом» пытается укротить стихию огня не водой, а словесным «заговором», то есть не враждой, а дружбой, — эпизод, конечно, больше символический, чем достоверный. Но именно так реальный Волошин входил и в приемную одесской ЧК, и в кабинет командующего Добровольческой армией, спасая жизнь обреченных. Так свел он к минимуму резню в Феодосии 1918 года, — отвоевывая, а не отстраняясь, сам на кромке между жизнью и смертью. «По ниточке добра»…

Игнорирование стихийных начал бытия может отомстить за себя, считает Цветаева. Они реально действуют в мире — в том или ином обличий, и, чтобы распознать их, нужно смотреть им в лицо, не опуская взгляда. С темной силой бытия можно справиться только так, как справляются с нечистой силой в народной сказке: увидеть, осознать, назвать. Только тогда вступают в действие обратные силы — силы света, силы духа, силы сопротивления.

В этом глубокий смысл цветаевского внимания к иррациональным стихиям. Она воплощала их в своем творчестве с силой и упорством, какие трудно еще отыскать в поэзии нашего века. Она настаивала на реальности извечного противоборства темных и светлых сил бытия. И если особенно подчеркивала мощь темных, то не для прославления и не для устрашения, но потому, что назвать — значит помочь одолеть.

Примечания

1

«Болшево». Литературный историко-краеведческий альманах. Вып. 2. М., Товарищество «Писатель», 1992, с. 282. В дальнейшем данное издание обозначено: «Болшево».

2

Виктория Швейцер. Быт и бытие Марины Цветаевой. Синтаксис, 1988, с. 461.

3

Личный архив М. Кацевой (Бостон, США).

4

Петербургский журнал, 1993, № 1–2, с. 177.

5

«Болшево», с. 284.

6

«Болшево», с. 255–256.

7

Мария Белкина. «Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка времени, людей, обстоятельств.» Издание второе, дополненное, М., Рудомино, 1992, с. 29, 30. В дальнейшем данное издание обозначено: Белкина.

8

«Воспоминания о Марине Цветаевой». М., Сов. писатель, 1992, с. 443. В дальнейшем данное издание обозначено: «Воспоминания».

9

Письмо к В.Н. Орлову от 28 августа 1974 года. — В кн. «А душа не тонет…» — М., 1995, с. 382.

10

То есть резиновыми дубинками.

11

Белкина, с. 404.

12

Белкина, с. 422.

13

Дата этой встречи остается неясной. Торгпредом Г. Л. Пятаков был в Париже в 1927 году. На допросах же называют то 1928-й, то 1929 год. Однако газета «Евразия» начала издаваться только в ноябре 1928 года, а в сентябре 1929-го она уже прекратила свое существование — и именно из-за отсутствия средств.

14

«Письмо Сергея Эфрона Евгению Недзельскому». — Турку, 1994, с. 6.

15

Звездочкой отмечены места, к которым имеются дополнительные сведения в разделе: «На полях этой книги. Дополнения к главе «Лубянка».

16

Новый мир, 1988, № 7, с. 181.

17

См. Приложение I.

18

«Cahiers du Monde russe et soviйtique», XXXII/2/, avril-juin 1991, p. 285–310.

19

Pavel Sudoplatov and Anatoli Sudoplatov. The Memories of an Unwanted Witness — a soviet Spymaster. — Boston — New York — Toronto — London, 1994, p. 47.

20

Марина Цветаева. Письма к Анне Тесковой. С.-Петербург, Внешторгиздат, 1991, с. 87.

21

«Воспоминания», С. 447–353.

22

См. Приложение II.

23

«Воспоминания», с. 449.

24

И сам факт знакомства с Флорой Лейтес на пароходе, и дата телеграммы, посланной ей из Елабуги, — результат уникальных разысканий М. Белкиной; моя роль в данном случае — лишь в попытке выявить внутреннюю логику событий.

25

Белкина, с. 320.

26

Кирилл Хенкин. Охотник вверх ногами. М., Терра — Terra, 1991, с. 49–50.

27

Белкина, с. 307.

28

Рассказ А. И. Сизова впервые опубликован в кн.: Лилит Козлова. Вода родниковая. К истокам личности Марины Цветаевой. Ульяновск, 1992, с. 207.

29

В. В. ‹Швейцер›. Поездка в Елабугу. — Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972, с. 643.

30

«Болшево», с. 211.

31

Пересказываю по тексту Л. К. Чуковский. См. «Воспоминания», с. 528.

32

«Воспоминания», с. 533.

33

«Воспоминания», с. 536.

34

«Воспоминания», с. 537.

35

«Воспоминания», с. 538.

36

Письмо Цветаевой Пастернаку от 11 февраля 1923 года (в кн.: Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. Том 2. М., 1988, с. 481. В дальнейшем данное издание обозначено: Соч. 1988.).

37

«Воспоминания», с. 543.

38

Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М., Сов. писатель, 1989, с.455.

39

РГАЛИ, в.2833 (фонд В.Н. Орлова), ед. хр. 322. Сообщено Р. Б. Вальбе.

40

Новый мир, 1993, № 3, с. 189, 193.

41

Белкина, с. 326.

42

Письмо Г. С. Эфрона С. Д. Гуревичу от 8 января 1943 г. (Русская мысль, Париж, 6.09.91.).

43

Марина Цветаева. Где отступается любовь… Петрозаводск, Карелия, 1991, с. 217–220.

44

Марина Цветаева. Письма к Анне Тесковой, с. 115.

45

Записи в рабочей тетради М. И. Цветаевой 1940–1941 года.

46

См. Приложение II.

47

Белкина, с. 307.

48

О чем писал Эфрон в статье «О Добровольчестве», опубликованной еще в 1924 году в журнале «Современные записки» (Париж), № 21.

49

Письма Марины Цветаевой к Ариадне Берг (1934–1939). — YMKA-Press, Paris, 1990.

50

Медон — пригород Парижа.

51

Потому что.

52

В болшевском доме не было телефона.

53

То есть загадочная (фр.).

54

Без бумаг — имеется в виду без документов. Цветаева получила советский паспорт только во второй половине августа.

55

Миля — Эмилия Эммануиловна Литауэр. См. о ней на с. 46–47 настоящей книги.

56

Видимо, предполагалось разделить перегородкой общую гостиную в болшевском доме.

57

Речь идет о девочке-подростке, дочери коменданта, приходившей помогать в уборке дома и хозяйственных делах.

58

То есть 27 августа 1939 года.

59

Речь идет о Всесоюзной Сельскохозяйственной выставке в Москве.

60

Н. П. — скорее всего речь идет о Н. Н. Вильям-Вильмонте, литературоведе и переводчике.

61

Год назад были арестованы дочь Цветаевой (27 августа) и ее муж (10 октября).

62

«Не хочу пугать» — повторяющийся мотив у Цветаевой. Она верит в «явления» умерших своим близким после смерти.

63

Н. Н. Асеев.

64

Жена Асеева Оксана Михаиловна — урожденная Синякова. Две ее сестры также жили тогда в Чистополе.

65

М. Кацева. Все поправимо — кроме смерти. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 13–14 сентября 1991 г.

66

А. И. Солженицын написал об этом в своих мемуарных очерках: «Как вообще дошел Воронков до этого кресла? почему он вообще руководил шестью тысячами советских писателей? был ли он первый классик среди них? Рассказывали мне, что когда-то Фадеев выбрал себе в любовницы одну из секретарш СП, тем самым она уже не могла вести простую техническую работу, и на подхват взяли прислужливого Костю Воронкова. Оттуда он вжился, въелся и поднялся. Но что же он писал? Шутили, что главные его книги — адресные справочники СП». (А. И. Солженицын. «Бодался теленок с дубом». YMCA — Press: Paris, 1975, с. 219.)

67

Здесь и далее цитаты из письма А. С. Эфрон К. В. Воронкову от 17 апреля 1967 года, копия которого находится в моем архиве. — М. К.

68

В том варианте данного письма, который теперь известен как «Письмо к Л. П. Берии» (в дальнейшем мы будем называть его ПБ), после этих слов появилась большая вставка:

«(«Почему она не едет в Советскую Россию?») В 1936 г. я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale R'evolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними — Похоронный марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских — песню из «Веселых ребят», «Полюшко — широко поле» и многие другие. Мои песни — пелись».

69

Вставка в ПБ: «Замысел Музея — его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними — одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию — труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для Музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва — все бесчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским Курсам и Консерватории, и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея)».

70

В ПБ здесь вставлено: «которой грозит пожизненная крепость».

71

В ПБ здесь добавлено: «а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог, — забирал в свою пулеметную команду».

72

В ПБ вставка: «В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.). С этого часа его «полевение» идет неуклонно».

73

Последнюю фразу из ПБ Цветаева убирает.

74

Данный абзац из ПБ убран. Последующий абзац переписан целиком. Новая его редакция очень информативна: «Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха — как сиял! («Теперь у нас есть то-то… Скоро у нас будет то-то и то-то…») Есть у меня важный свидетель — сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слыхавший.

Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек — на глазах — горел. Бытовые условия — холод, неустроенность квартиры — для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, — целое перерождение человека».

75

Далее в ПБ: «Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе Возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю — это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог».

76

Весь этот абзац в ПБ Цветаевой выпущен. Можно предположить, что «Дело S.», папку с которым показывают Цветаевой на допросе, — готовившееся дело Михаила Штранге, фамилия которого во французской транскрипции — Strangue.

77

Эта фраза из ПБ Цветаевой исключена.

78

В ПБ фраза продолжена: «…и коммунизм его объясняли «слепым энтузиазмом». Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати (— «Как, на этой кровати спал г-н Эфрон?») говорили о нем с каким-то почтением, а следователь — так тот просто сказал мне: — «Г-н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться…»

А ошибаться здесь, в Советском Союзе, он не мог, потому что все` 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал.

79

Последние две фразы в ПБ убраны.

80

В ПБ далее дописана другая концовка: «Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы — проверьте доносчика. Если же это ошибка — умоляю, исправьте пока не поздно».

81

«Воспоминания», с. 348.

82

— Это самый честный, самый благородный, самый человечный человек. — Но его доверие могло быть обмануто. — Мое к нему останется неизменным (фр.).

83

Дюкоме Жан-Пьер (1902–1961) — французский фотограф. Завербован Н. Позняковым в 1936 году в советскую разведку. Участник оперативной группы, созданной летом 1937 года во Франции для преследования и убийства «невозвращенца» Игнатия Рейсса. Был арестован французской полицией и провел 13 месяцев в тюрьме. Дал обширные показания. Освобожден из тюрьмы в связи с тем, что не были задержаны главные организаторы убийства. Партийная кличка — «Боб».

84

Сведения ошибочны. Цветаева родилась 26 сентября (по ст. стилю) 1892 года, ее родители И. В. и М. А. Цветаевы.

85

«Союз возвращения» возник в Париже в 1925 году, но в начале тридцатых был радикально преобразован и оказался в полной идеологической и материальной зависимости от советского полпредства во Франции. В первой половине тридцатых годов секретарем «Союза» был Е. В. Ларин, а с 1937 года (в связи с переходом Ларина на работу в Советский павильон всемирной выставки в Париже) его сменил А. А. Тверитинов. Оба позже вернулись в СССР и были репрессированы.

87

«Работала там» — то есть в редакции журнала «Наш Союз».

88

Афанасов Николай Ванифатьевич (1902–1941) — русский эмигрант, друг С. Я. Эфрона с 1918 года. Во время гражданской войны — участник Белого движения. В Болгарии работал шахтером и лесорубом. Переселившись во Францию, жил в основном в Гренобле, время от времени работал таксистом, долгие периоды оставался без работы. Завербован в советскую разведку в 1934 году. В свою очередь завербовал Марка Зборовского, ставшего впоследствии личным секретарем сына Л. Д. Троцкого Л. Л. Седова. Вернулся в Советский Союз осенью 1936 года. Жил в Калуге. Поддерживал связи с В. А. Гучковой-Трейл, Э. Э. Литауэр и С. Я. Эфроном. Арестован в начале 1940 года. Расстрелян 28 июля 1941 года в Москве.

89

Газета «Евразия» издавалась в Париже «левыми» евразийцами с ноября 1928 года по сентябрь 1929 года.

90

Об эпизоде прибытия беженцев Цветаева упоминала в письме к Анне Тесковой: «…прибытие к нам испанского республиканского корабля — беженцев из Сантадера, и день, проведенный с испанцем, ни слова не знавшим по-французски, как я —. по-испански, — в оживленной беседе, в которую вошло решительно все». — Марина Цветаева. Письма к Анне Тесковой. Санкт-Петербург, 1991, с. 135.

91

Боб — см. примеч. 83.

92

Смиренский Димитрий Михайлович (1897—?) — он же Марсель Роллэн. Русский эмигрант, участник Белого движения. Во Франции с 1922 г., работал на заводе Рено, член Французской компартии, член парижского «Союза возвращения». Завербован Эфроном в советскую разведку. Входил в оперативную группу, выслеживавшую Седова, а затем в ту, которая преследовала И. Рейсса. Был арестован и год провел в парижской тюрьме. Выпущен за недостатком улик. Вернулся в СССР весной 1939 года. Арестован в 1940 году. Дальнейшая судьба неизвестна.

93

Штранге Мишель (Михаил Михайлович, 1907–1968) — сын русских эмигрантов, владельцев русского пансиона-санатория в Верхней Савойе. Эфрон и Цветаева с детьми провели здесь лето 1930 и 1936 годов. Эфрон также неоднократно приезжал сюда один в середине тридцатых годов. М. М. Штранге изучал историю и литературу в Сорбонне, сам занимался литературным трудом. Был завербован Эфроном в советскую разведку. По предположению, «координатор» действий оперативной группы, преследовавшей Рейсса. Во время второй мировой войны — участник Французского сопротивления. Член советской военной миссии во Франции в конце войны. Вернулся в СССР в 1947 году. Автор монографий «Русское общество и французская революция 1789–1794 гг.» и «Демократическая интеллигенция России в XVIII веке», изданных в Москве. Его имя многократно с симпатией упоминается Цветаевой в ее письмах к поэту Штейгеру (см. Марина Цветаева. Письма к Анатолию Штейгеру. Калининград, 1994, с. 76, 88–89, 108–109).

94

Кондратьев Вадим (1903–1939) — в годы гражданской войны сражался в Белой армии, затем эмигрант, работал во Франции шофером такси, часто безработный. Завербован в советскую разведку Н. А. Клепининым в середине тридцатых годов. Участник оперативной группы, преследовавшей Рейсса. Ранее других скрылся из Парижа после убийства Рейсса. Умер от туберкулеза в Москве.

95

Клепинины — Николай Андреевич (1897–1941) и Антонина Николаевна (1892–1941) — см. о них с. 53–54 настоящей книги.

96

Позняков Николай Сергеевич (?). Учился вместе с Эфроном в гимназии, во время первой мировой войны сотрудничал в Красном кресте. В годы гражданской войны — в Белом движении. В Париже имел фотоателье. Вместе с К. Б. Родзевичем и В. В. Яновским «работал по связи с троцкистами ПОУМ» в период гражданской войны в Испании, что позволяет предположить какое-то участие и в расправе над руководством ПОУМ в 1936 году. К. Хенкин, знавший Познякова, в своей книге «Охотник вверх ногами» отзывается о нем крайне негативно. По возвращении в Москву (1939 год) вел работу среди бывших республиканских бойцов Испании. Умер в шестидесятых годах на родине, избежав ареста.

97

Штейнер Рене (Рената, 1908–1986) — швейцарская учительница, завербованная советской разведкой в середине тридцатых годов. Исполняла ряд поручений Эфрона и после ареста дала об этом обширные показания. В частности, именно по заданию Эфрона она вместе со Смиренским принимала участие в слежке за Седовым. Осенью 1937 года (по чьему распоряжению — неясно) взяла на свое имя в прокатной фирме Женевы автомобиль, использованный убийцами Рейсса. Несколько месяцев провела в тюрьме. Освобождена в связи с исчезновением главных организаторов убийства. На допросах настаивала (как Дюкоме и Смиренский) на том, что Эфрон к «акции Рейсса» не имел никакого отношения.

98

Убийство Рейсса произошло 4 сентября 1937 года, похищение генерала Н.К. Миллера — 22 сентября того же года.

99

Шильдбах (урожденная Нейгебауэр) Гертруда (1894—?) — давняя приятельница Рейсса-Порецкого, немецкая коммунистка, сотрудница спецслужб, работавшая в Италии. Согласилась помочь оперативной группе, выслеживавшей Рейсса. Находилась в автомобиле во время убийства. По данным П. Хубера и Д. Кунци, жила затем в СССР, в 1938 году была арестована и сослана в Казахстан.

100

Росси Франсуа (он же Р.-Ж. Аббиат), он же Правдин Виктор (1905—?) — на момент участия в «лозаннской акции» гражданин Монако. Работал на НКВД с 1929 года. Вошел в оперативную группу, преследовавшую Рейсса. Он и другой подданный Монако Шарль Мартинья (1900—?) с самого начала полицейского расследования были определены как непосредственные убийцы Рейсса. Во время второй мировой войны — корреспондент ТАСС в Нью-Йорке. Жил в Индии, Великобритании, Мексике, США. Зять Б. Э. Афанасьева, которого П. Судоплатов называет в своих мемуарах как еще одного достоверного участника убийства Рейсса. (Возможно, что Б.Э. Афанасьев и Шарль Мартинья — одно лицо.)

101

Версия отъезда Эфрона в Испанию устойчиво поддерживалась в семье Цветаевой — Эфрона и была, несомненно, придумана в советских спецслужбах. Именно они организовали переброску Кондратьева, Эфрона, Клепининых и других своих сотрудников из Франции в СССР осенью 1937 года.

102

Хенкин Кирилл Викторович (р. 1916) — из России вывезен родителями в 1923 году. Участник гражданской войны в Испании. Завербован в советские спецслужбы. Вернулся на родину в 1941 году. Служил в одном из управлений НКВД, затем на московском радиовещании для заграницы, позже — в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Покинул СССР в начале 70-х годов. Работал на радиостанции «Свобода». Автор нескольких книг, написанных на автобиографическом материале.

103

Лева — Лев Борисович Савинков (1912–1987) — сын Б. В. Савинкова, известного деятеля партии эсеров и писателя. Жил во Франции. Сражался в Испании на стороне республиканской армии. Завербован Эфроном в 1937 году. Дружил с Ариадной Эфрон. Уже уехав в СССР, А. С. Эфрон еще некоторое время с ним переписывалась.

104

Чистоганов Анатолий (1910—194?) — русский эмигрант, участник Белого движения. Член «Союза возвращения на родину». Завербован в советские спецслужбы. Участвовал в слежке за сыном Троцкого Седовым.

105

Дата явно перепутана. Г. С. Эфрон уехал из Москвы в Ташкент 15 октября 1941 года.

106

Здесь и далее в тексте статья «Пушкин и Пугачев» цитируется по изданию: Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1980, с. 368–396. В дальнейшем данное издание обозначено: Соч. 1980.

107

Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972, с. 281.

108

Поэма «Молодец» здесь и далее цитируется по изданию: Марина Цветаева. Молодец. Прага, 1924.

109

Соч. 1988. Т. 2, с. 428.

110

Там же, с. 377.

111

Дружба народов, 1987, № 8, с. 265.

112

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трех томах. Т. 3. М., 1986, с. 70.

113

Марина Цветаева. Избранные стихотворения и поэмы. Л., Библиотека поэта (Большая серия). 1990, с. 174.

114

Соч. 1980. Т. 2, с. 464.

115

Соч. 1988. Т. 2, с. 386, 389.

116

Наваждение (фр.).

117

Одержимость (фр.).

118

Соч. 1988. Т. 2, с. 397.

119

Там же, с. 390.

120

Андрей Белый. Петербург. Л., 1981, с. 516.

121

Соч. 1988. Т. 2, с. 381.